

РУССКИЙ

БУКЕР

шорт-лист

Елена
ЧИЖОВА

полукровка

проза: женский род

Елена Семеновна Чижова

Полукровка

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4954876

Полукровка: роман / Елена Чижова: АСТ, Астрель; Москва; 2010

ISBN 978-5-17-068369-7, 978-5-271-28387-1

Аннотация

Елена Чижова – автор пяти романов. Последний из них, «Время женщин», был удостоен премии «Русский Букер», а «Лавра» и «Полукровка» (в журнальном варианте – «Преступница») входили в шорт-листы этой престижной премии.

Героиня романа Маша Арго талантлива, амбициозна, любит историю, потому что хочет найти ответ «на самый важный вопрос – почему?». На истфак Ленинградского университета ей мешает поступить пресловутый пятый пункт: на дворе середина семидесятых.

Девушка идет на рискованный шаг – подделывает анкету, поступает и... начинает «партизанскую» войну. Одна против всех!!! Но кто она теперь? Жертва или безнаказанная преступница?

Содержание

Часть I	4
Глава 1	4
Глава 2	58
Глава 3	86
Глава 4	112
Конец ознакомительного фрагмента.	129

Елена Чижова

Полукровка

Часть I

Глава 1

1

Темный коридор бывшего Государственного банка замыкался огромной петлей, так что, пускаясь в путь от лестницы парадного корпуса, в одной из комнат которого подавали заявления и заполняли анкеты, можно было вернуться в исходную точку, правда, потеряв порядочно времени. Июльская жара смиренно дожидалась под колоннадой, словно банковские стены, привыкшие охранять активы государства, распознавали в ней нежелательного клиента. Робкими просителями входили в вестибюль абитуриенты. Следуя по стрелкам, как в детской игре, когда бросают кость, они поднимались на второй этаж и, отстояв недолгую очередь, скрывались за дверью, украшенной самодельной надписью: «Приемная ко-

миссия».

Мимо вывески «Столовая для преподавателей», мимо двери «Отдела кадров», обитой черным коленкором, мимо узкой винтовой лестницы, ведущей в подвальную студенческую столовую, лежал путь к аудиториям, в это время закрытым на ключ. Главный коридор освещали лампы дневного света, горящие в полнакала. Островки тускловатого света то и дело перемежала тьма. Девушка, одетая в ситцевое платье с белым отложным воротничком, оглянулась, словно набираясь храбрости. В ее пальцах белел листок с фотографией. Держа его на виду, как пропуск, она вошла в коридор.

Теперь, когда сдала документы (про себя, сама того не замечая, девушка говорила не *сдала*, а *приняли*, как будто эта формулировка, сводящая почти что на нет ее личное участие, придавала делу больше объективной весомости), здание бывшего банка выглядело чуточку гостеприимнее. Таблички с номерами аудиторий, доски объявлений у дверей деканатов – все напоминало родной финансовый техникум. Сам же приволжский город, оставленный ради будущего, представлялся далеким и безрадостным. Будущее рисовалось близким праздником, который не могли омрачить даже вступительные экзамены. Испытаний она не боялась. Красный диплом, несколько минут назад вложенный в именную папку с документами, был единственным в ее выпуске, а кроме того, за спиной стояли заочные подготовительные курсы: ленинградские преподаватели оценивали ее знания

высоко. Была и обнадеживающая примета: пожилой мужчина, бегло просматривавший все документы, одобрительно покивал головой. Своей рукой он поставил росчерк, похожий на размашистую букву, в правом верхнем углу.

Впереди, в темной глубине коридора, обозначился чей-то силуэт. Свет дневных ламп достигал его неверным отблеском, и, подойдя поближе, Валя различила девушку, стоявшую в темном промежутке. В ее руке белела знакомая бумажка. Девушка смотрела под ноги, внимательно, как будто искала потерянное. Венчик выющихся волос, окружавших ее склоненную голову, казался подсвеченным изнутри. Валя хотела пройти мимо, но незнакомая девушка вдруг обернулась.

– Здравствуйте, – Валя смутилась и поздоровалась.

Девушка не ответила, и, совсем растерявшись, Валя опустила глаза.

Только теперь она заметила люк, сложенный из мелких плиток. Носком туфли Валя коснулась крайней:

– Это... насквозь?

Незнакомка кивнула.

– За-ачем? – Валя протянула нараспев. – И там, впереди...

Плитки, врезанные в пол через равные промежутки, были тусклыми и прочными – двойного стекла. Сквозь них, из глубины нижнего этажа, казалось, пробивался свет, но едва заметный, мутный, почти неразличимый.

– Раньше был банк. Здесь, – незнакомая девушка обве-

ла рукой коридорные стены, – хранили золото. Кирпичи золотых слитков. А люки – специально. Чтобы видели только свои.

– Но там же, – Валя оглянулась на двери, пытаясь представить себе тяжелые золотые поленницы, – окна...

– Не было. В хранилищах глухая кладка. Странно. – Они стояли на краю люка. – Столько лет прошло, а до сих пор не разбили.

– Грязные, – Валя имела в виду плитки.

Про окна она не поверила, но не решилась возразить.

– Это не грязь. Они нарочно мутные. Чтобы не видно снизу...

– Меня зовут Валя. Я из Ульяновска, – она смотрела доверчиво.

– Отку-уда?... А впрочем... Мария.

– Маша? – Валя переспросила.

– Ну, – незнакомка усмехнулась, – если *тебе* так легче.

– Мне... – Валя постаралась не заметить усмешки. – Я могу и так, и так. Как ты сама хочешь...

Девушка снова усмехнулась и не ответила.

– Ты на какой? – Валя взмахнула белой бумажкой. – Я – на «Финансы и кредит». Это моя специальность, я и техникум – по этой. Там моя мама работает, преподает финансы отраслей. Вот я и пошла. А папы у меня нет, – Валя говорила торопливо, как будто спешила оправдаться. Оправдываться было не в чем. – А ты? – она спросила, не решаясь обратить-

ся по имени. Выбрать и назвать.

Девушка кивнула, словно тоже закончила финансовый техникум, в котором преподавала и ее мать. Они стояли на самом краю.

– А знаешь, – Валя обрадовалась, как будто нашла выход. – Давай и то и другое: Маша-Мария. Как за границей. Я читала, там называют. Иногда...

– Ты уже сдала документы? – глядя на белую бумажку, Валя сообразила, что спрашивает заведомую глупость и эта глупость что-то испортила.

– Я тоже, – девушка перебила, не дослушав. Темная волна прошла по ее лицу. – На «Финансы и кредит». Ну, пока, – кивнув, она пошла быстрым шагом.

Валя замерла в недоумении. Прежде чем изгиб коридора сделал ее невидимой, Валя заметила еще одну странность: девушка, с которой она только что познакомилась, выбирала путь так, чтобы не наступить на стеклянные клетки, врезанные в пол.

Дни, оставшиеся до экзаменов, вместили много нового: Валя устраивалась в общежитии, знакомилась с абитуриентами, приехавшими из разных мест, искала междугородний телефон – дозвониться маме. Мама тревожилась. В первый раз она отпустила дочь так далеко. Мамин голос казался слабым и далеким. Стараясь перекричать помехи, Валя уверяла, что все замечательно. И не о чем волноваться.

Девочки, с которыми ее поселили в одной комнате, и вправду попались хорошие, но, прислушиваясь к их вечерним разговорам, Валя понимала: многие выбрали финансово-экономический случайно, лишь бы остаться в Ленинграде. Их знания оставляли желать лучшего, и Валя отдавала себе отчет в том, что не все они выдержат конкурс, а значит, с некоторыми из них знакомство окажется коротким.

В их группе первой была математика. Пролистав учебники накануне, Валя уснула с чистой совестью, потому что отлично помнила материал. Сквозь сон она слышала веселые голоса. В соседней комнате устроили вечеринку. Заводилой была миловидная Наташка. Она вообще оказалась бывалой – приезжала из своей Самары уже в третий раз. Валю тоже приглашали в компанию, но она отказалась.

Утром собирались наскоро, подкрашивали помятые лица, пока Наташка не прикрикнула:

– Нечего штукатуриться, не в оперу. Экзаменаторы крашенных не любят, особенно этот... Винник-Невинник. Прямо шиз какой-то, прошлый год прихожу – опять сидит, хоть бы заболел, что ли...

Сама-то Валя не красилась, но про Винника послушала и намотала на ус.

На экзамен они явились слаженной стайкой и вмиг оттеснили ленинградцев, пришедших поодиночке. Машу-Марию Валя заметила сразу. Теперь, под ярким светом коридорных

ламп, эта девушка больше не казалась загадочной. Светлая шерстяная юбка и черная кофточка сидели на ней ловко. Валя удивилась, потому что *у них* носили иначе: темный низ, светлый верх. Аккуратный платок, повязанный вокруг шеи, смотрелся нарядно. Помедлив, Валя подошла.

Маша-Мария узнала и улыбнулась:

– Знаешь, а мне понравилось. Хорошо придумала. Я тоже буду тебя. Двойным, как за границей: Валя-Валентина. Помнишь, у Багрицкого, «Смерть пионерки»?

Валя не успела засмеяться. Девушка-секретарь, державшая в руках длинный список, начала выкликать.

– Агалатова.

Входя в аудиторию первой, Валя увидела краем глаза: откликаясь на фамилию Арго, ленинградская девочка идет за нею вслед.

Вытянув билет, Валя обрадовалась: теорема о подобии треугольников – из простых. За ней следовало логарифмическое неравенство, за неравенством – функция, остальное вообще арифметика. Быстро исписав листочек, она приготовилась ждать. Маша-Мария сидела наискосок и писала старательно. Считая, она шевелила пальцами, как ученица начальных классов.

Комиссия состояла из двух человек. Один, помоложе, похожий на заучившегося студента, ворошил бумажки, отмечал номера билетов, следил, чтобы никто не списывал. Дру-

гой – постарше. Этому не сиделось на месте. Он расхаживал по аудитории, на ходу заглядывая в исписанные листки. Иногда, заметив ошибку, останавливался и тыкал презрительным пальцем.

На подготовку отводилось сорок минут.

– Ну-с? – сверившись с часами, профессор наконец огляделся. Голова, покрытая редким пухом, сидела на неподвижных плечах. Круглые глаза смотрели цепко и внимательно: как сова, высматривающаямышь. Первой попалась Наташка. Она и пискнула по-мышьиному, когда профессор, подхватив свободный стул, уселся рядом. Придушенным голосом Наташка бубнила теорему. Он слушал рассеяннo, как будто думал о своем. Потом заглянул в листок, быстро пробежал глазами и, коротко вычеркнув две строки, обернулся к молодому:

– Алексей Митрофанович, здесь четыре балла, отметьте там, у себя.

Дрожа от радости, Наташка пошла к столу. Заучившийся студент протянул подписанный экзаменационный листок. Обернувшись от двери, Наташка поймала Валин взгляд и, кивнув на профессора, покрутила пальцем у виска.

Далее последовали две тройки и четверка, и всякий раз, коротко чиркнув по написанному, профессор обращался к Алексею Митрофановичу и повторял свою коронную фразу, меняя балл.

Маша-Мария еще дописывала, когда, подхватив стул,

Винник сел рядом. «Не успела...» – Валя обмерла. В этот миг она и думать не думала о том, что эта ленинградская девочка на самом деле – ее конкурентка. Прислушиваясь к испуганному сердцу, Валя сложила пальцы крестиком – за Машу-Марию.

Профессор слушал невнимательно, Валя следила за его лицом. Время от времени он опускал веки, словно задремывал. Маша-Мария доказывала теорему Пифагора. Выслушав, он подцепил листок и взялся за ручку.

– Я могу и другим способом – через вектора, – Маша-Мария предложила тихо, ему под руку.

В школьных учебниках векторного доказательства не было.

– Ну, – профессор кивнул и поднял бровь.

Маша-Мария чертила старательно, он следил за рукой.

– А если вот так? – подтянув листок к себе, он написал на свободном поле.

– Нет, – она покачала головой и зачеркнула его строку. Совиные веки моргнули.

– Вот здесь, – профессор пробежал глазами и выбрал пример, – если модуль – вот таким образом? Что станет с графиком?

– Повернется зеркально, на этом отрезке, – она ответила и усмехнулась.

– Вы заканчивали математическую школу? – теряя совиный облик, он спросил заинтересованно.

– Нет, – Маша-Мария покачала головой и дернула угол платка.

Валя разжала крестики. Теперь, когда ответ закончился, профессор должен был обернуться и объявить результат. Речь могла идти только о пятерке. Но он не объявлял и не оборачивался, а зачем-то поднялся и пошел к столу. Валя смотрела радостно, словно хотела поздравить первой, раньше, чем они выставят в ведомость. Но то, что она увидела, было странным: опустив голову, как будто снова стояла над мутным люком, Маша-Мария сидела неподвижно.

Внимательно прочитав листок, профессор обошел стол и выдвинул ящик. На свет явилась какая-то бумага. Валя вытянула шею и разглядела столбик фамилий. Ведя указательным пальцем, профессор добрался до последней, моргнул совиными глазами и, отложив, взял другой лист. То, что он искал, нашлось мгновенно. Палец замер, и, изумленно подняв бровь, профессор обратился к ассистенту:

– Алексей Митрофанович, здесь – несомненная пятерка, отметьте там, *у нас*.

Маша-Мария вышла из-за парты. Не поднимая глаз на профессора, протянула руку к экзаменационному листку.

Валя отвечала следующей. Выслушав и не найдя в работе ошибок, Винник выставил пятерку и, подхватив стул, подсел к новой девочке.

Оказавшись за дверью, Валя огляделась. Маши-Марии не было. Прежде чем убрать в сумку, она развернула свой ли-

сток: под заслуженной пятеркой стояла профессорская подпись. Его подпись была неразборчивой, похожей на кривой завиток.

Сочинение они писали в разных потоках, и, припоминая цитаты из Горького, Валя чувствовала себя неуверенно, словно экзамен, проходящий в отсутствие *той* девочки, становился испытанием, превышающим силы. Результаты обещали вывесить на специальной доске. Дождавшись объявленного часа, Валя пробилась сквозь плотную стайку, окружившую список. Глаза выхватили фамилию, начинавшуюся с их общей буквы. Против «М.М.Арго» стояла пятерка, державшая ровную спину. Ее собственная оценка, выведенная чуточку повыше, напоминала стульчик, повернутый вверх ногами.

– Нормально, нормально, – чей-то голос утешал себя и других. – На *наш* четверка катит, слава богу, не «Промышленный».

В общежитии Валя обратилась к бывалой Наташке, и та разъяснила:

– «Промышленно-экономический» – белые люди. Мы, которые на «Финансы и кредит» – так себе. Сберкассы, банки. Хуже нас – одни бухгалтера. Самый шикарный – «Экономическая кибернетика», – Наташка причмокнула восхищенно. – Вообще-то они тоже на «Промышленном», но туда конкурс... Особый. Одни отличники или уж по такому бла-

ту... У-у!

– Я бы могла. У меня тоже пятерки, в техникуме... – Валя прикинула робко.

Но Наташка отрезала:

– Дура ты симбирская! – и занялась своими делами.

Валя не ответила на грубость, но про себя подумала: «Если кибернетика и вправду самая-самая, стала бы Маша-Мария поступать на финансы...»

После математики и сочинения народу заметно поубавилось. Девчонки говорили: заваливают на первых двух. История вообще последний *страшный*. Перед географией подбивают бабки, кого не отсеяли – считай, почти что *там*. Заткнув ладонями уши, Валя твердила даты. С датами вообще легко запутаться. Этот недостаток она за собой знала. Хорошо, что хотя бы не вся история, а только СССР. Правда, с древности, начиная с древлян и кривичей. Вот бы эти кривичи удивились...

Историю Валя не любила. Параграфы, которые она зубрила в школе, с трудом удерживались в голове. Не то, чтобы Валю подводила память, по крайней мере, ее памяти хватало на отличные оценки. Но история человечества, если взять всю целиком, представлялась Вале каким-то бескрайним морем, лишенным берегов. Время от времени на поверхность, как подводные лодки, всплывали отдельные страны. А через месяц-другой ныряли обратно, чтобы больше не всплыть. Чи-

тая про римских императоров, Валя никак не могла соединить их с временем древних греков, как будто эти греки, дождавшись, когда про них ответят, все как один умирали – ложились под свои развалины, торчавшие из земли. Римляне, продержавшись целую четверть, исчезали в подвалах Коллизея. А на их место – отвоевав для себя парочку веков – приходили византийцы. Их вообще хватило на полчетверти. Однажды Валя спросила учительницу, и та объяснила: народы и страны похожи на людей. Рождаются, взрослеют и умирают. Но потомкам они интересны лишь на том отрезке своей жизни, из которого человечество может извлечь поучительные для себя уроки. У каждого народа, оставшегося в истории, есть и достижения, и характерные заблуждения – их вклад в будущее.

Выслушав, Валя, конечно, кивнула. Но потом стала думать про историю как про что-то ужасное и жестокое. Однажды она видела фильм про концлагерь. Ей запомнился эсэсовец с длинной тросточкой. Заключение стояли на площади, а он шел и тыкал в тех, кого посылал на смерть. И Вале вдруг показалось, что народы – это тоже как будто люди. Так она себе и представила: вот они стоят на выметенной площади, а перед ними вышагивает эсэсовец с длинной тросточкой. Идет и выбирает: *тебя и тебя...*

Этих мыслей, отдававших идеализмом в истории, Валя стеснялась и никому не высказывала, даже маме. Но позже, старательно заучивая даты и все равно частенько путаясь, ра-

довалась. Как будто, сбившись на несколько веков, продлевала жизнь обреченным.

Девочки оказались правы. На истории никого *не валили*, да и члены комиссии, если сравнивать с прежними, выглядели хлипко: три неприглядных тетки, каких полным-полно в любом техникуме. Они суетливо перебирали бумажки, путались в фамилиях, каждого выслушивали всей троицей, и в этой бесконечно длящейся суете ничего не стоило, пристроившись на заднем ряду, пролистать пособие для поступающих, свериться с датами. На экзамене они оказались за разными партами и вообще в разных углах. Наблюдая украдкой, Валя отметила: сидя напротив запыленных теток, Маша-Мария держалась спокойно. От прежней робкой и скованной повадки, так удивившей Валью на математике, не осталось и следа. Маша-Мария рассказывала о русской науке первой четверти XIX века, и, невольно прислушиваясь к фамилиям, Валя дивилась ее начитанности. Учебникам такая обширность не снилась.

С одной датой Валя все-таки напутала. Вопрос касался раздела Польши, и то ли в пособие вкралась опечатка, то ли не туда подглядела, но по-Валиному получалось, будто Екатерина II, не успев взяться за дело, передоверила его своим потомкам.

На этот раз Маша-Мария ждала ее за дверью.

– Четверка, – Валя призналась смущенно.

Но Маша-Мария кивнула и предложила пройтись.

Шагая вдоль канала Грибоедова, Валя оглядывалась по сторонам и думала о том, что осталось всего ничего, последний экзамен, и эта красота, поглядеть на которую приезжают со всех концов страны, станет принадлежать ей по праву, как этой ленинградской девочке.

– Я слушала твой ответ... – Валя замолчала, стесняясь продолжить, но Маша-Мария поняла.

– А, ерунда! Просто я готовилась на исторический, – она смотрела в сторону, на выгнутую колоннаду Казанского собора.

– И что, передумала? – Валин взгляд коснулся соборного креста.

– Ага. Что-то вроде, – Маша-Мария ответила отчужденно.

– А я... я как-то боюсь истории, – Валя призналась вдруг.

– Конечно, материала много. С наскоку выучить трудно.

Но рано или поздно, когда начинаешь понимать взаимосвязи...

– Нет, – Валя заторопилась договорить о своем, – не экзамена. Я не знаю, как сказать... Самоёй истории... – Не поднимая глаз, она рассказала о страшном эсэсовце, идущем с тросточкой по тщательно выметенному плацу. – Конечно, я понимаю, все это глупости. И вообще, вульгарный идеализм...

Ей казалось, Маша-Мария засмеется, но она слушала, не перебивая.

– А знаешь, – Валя вспомнила и обрадовалась, – здесь в институте какая-то экономическая кибернетика. Кажется, на «Промышленном». Туда – одних медалистов... Или по такому благу! У-у! – она повторила за Наташкой. – Но ты... Я слышала, как ты отвечала. И на математике, и сегодня... Это какая-то особенная специальность. Я думаю, – Валя собралась с духом, – ты бы могла...

Они стояли у перехода. Красный светофор, преграждавший путь, бил в глаза.

– Во-первых, не вижу разницы, – Маша-Мария заслонила рукой, словно загораживаясь от света. – А во-вторых... Этот эсэсовец с тросточкой... – она помедлила и усмехнулась. – Такая вот история. Оказалось, твой эсэсовец выбрал меня...

– Что? – Валя переспросила растерянно.

– В «Лягушатнике» бывала? – Маша-Мария перебила и потянула Валю за собой.

Оказалось, что «Лягушатник» – обыкновенное кафе. Перейдя на другую сторону, они пошли по Невскому, и Маша-Мария рассказывала, как они ходили туда с девочками после каждого школьного экзамена.

– Здорово... – Валя слушала восхищенно.

Странная фраза об эсэсовском выборе вылетела у нее из головы.

Оглядевшись в зеленоватом полумраке, Маша-Мария на-

правилась к дальнему столу. Пристроившись на краешке, Валя потянулась к бархатному складню, но ее спутница махнула рукой. Подозвав официантку, распорядилась быстро и толково. На стеклянной поверхности выросли две металлические вазочки и запотевший сифон.

– Ты раньше?.. Давно сюда ходишь? – Валя начала с розового шарика.

– С детства. Когда-то я много болела, вот они и не рассказывали про мороженое, скрывали... А мама очень любила, – Маша-Мария начала с коричневатого, – ходила тайком. И всегда заказывала сливочное, потому что раньше, после войны, когда она сама была маленькая, никаких цветных еще не было: все шарики одинаковые... А потом как-то раз мы пошли в ДЛТ – я, мама и папа. И мама оставила нас в скверике. А я очень плакала, и папе надоело. Вот он и привел меня сюда. Мама сидела там, – она указала в дальний угол. – А я увидела и подбежала. Стала просить. *Это*. Не знала, как называется. А мама говорит: это такая картошка, ты же не любишь холодную картошку, но я все равно просила, и она дала мне попробовать, – направив острый носик сифона, она нажала на крючок.

– И что? – Валя подняла шипящий стакан. Пенистый холод ударил в небо.

– Попробовала и поняла: есть такие места, райские. И картошка там другая, не как у нас.

– А потом? Когда узнала, что это не картошка? – Валя

запивала мелкими глотками.

– *Потом* не имеет значения. Ничего не меняет, – Ма-ша-Мария глотнула и отставила стакан.

Валя вспомнила о своей маме и решила не рассказывать о сегодняшнем празднике. Мама не одобрит таких развлечений посреди вступительных экзаменов.

Географию сдали легко. Дядька из комиссии сразу предупредил: волноваться не о чем, *заваливать* никого не будут. Тем, кто отвечал неуверенно, экзаменаторы даже подсказывали, так что ниже четверки не получил никто.

Проходной балл объявили на следующее утро, и вечером Валя обрадовала маму: на «Финансовый» – 21, с пятерочным аттестатом у нее получалось 23, с запасом. Не удержавшись, она похвасталась новой подружкой: хорошая ленинградская девочка. У нее вообще 25, наивысший балл. «С таким – даже на кибернетику. У них 24,5». Мама, конечно, не поняла.

Возвращаясь в общежитие, Валя вспомнила: завтра она идет в гости. Родители Маши-Марии передали приглашение – отметить начало новой институтской жизни. В их семье.

Валя шла и думала о том, что это начало получается странным. Девушка, стоявшая над решетчатым люком... Потом слова про эсэсовца... За всем этим стояло что-то тревожащее. Во всяком случае, непонятное. Единственное, что Валя понимала ясно: никогда она больше не вернется в свой родной город, где нет и не будет зеленоватого «Лягушатни-

ка», в котором ставят на стол райскую картошку, совсем не похожую на обыкновенную.

2

Маша-Мария ждала у ограды. «В первый раз лучше вместе, мало ли, заблудишься». Так она сказала вчера вечером, когда, вернувшись в общежитие, Валя позвонила снизу, с вахты.

Они сошли у Дворца работников связи.

– Вот. Смотри и запоминай. Отсюда идешь назад полквартала. До самого Дома композиторов. Потом под арку и направо – в дальний угол. А здесь – Дом архитекторов, – она указала на здание напротив.

– Надо же! – Валя шла и оглядывалась: у каждой профессии свой дом или дворец. – А Дом экономистов есть? – заходя под арку, она спросила мечтательно. Маша-Мария нахмурилась и замолчала.

После ульяновской квартиры *эта* показалась роскошной. Прихожая – больше, чем их *зал*, нет, кажется, такая же, просто в зале – мамина кровать с металлическими шариками, тахта, шкаф и два кресла. И потолки намного ниже. С ленинградскими не сравнить... В прихожую никто не вышел, наверное, не услышали: Маша-Мария открыла своим ключом.

– Сумку не оставляй, – она бросила коротко. Особенно не задумываясь, Валя послушно кивнула.

В первой комнате стоял накрытый стол. Он был уставлен салатниками и вазочками, как будто родители, пригласившие Валю, ждали уйму гостей. Хозяева уже сидели за столом. Высокий худощавый мужчина, одетый в костюм с галстуком, светловолосая полная женщина и еще один, молодой и остроносый, лет тридцати пяти.

– Вот, прошу любить и жаловать: Валя.

Улыбаясь, родители назвали свои имена: Антонина Ивановна и Михаил Ше€ндерович.

– Шен-де-ро-вич, – словно опережая ее удивление, высокий мужчина повторил свое отчество по складам.

– А это мой брат, двоюродный. Иосиф, – Мария подмигнула остроносому. – Краса и гордость нашего многочисленного семейства.

Валя улыбнулась, и брат весело закивал.

– Можно просто Ося. Со студентками мы без церемоний. А семейство действительно многочисленное. Но здесь, – широким жестом он обвел присутствующих, – несомненно, лучшие представители, особенно Тонечка, – Иосиф поклонился Антонине Ивановне. – Ну и я, скажем прямо, не последний человек.

– Тебя бы, – Маша-Мария прервала поток его красноречия, – на конкурс хвастунов...

– Меня бы на другой конкурс, не хочется при дамах... – Иосиф парировал, усмехаясь.

– Садитесь, садитесь! – Антонина Ивановна приглаша-

ла, – ждем только вас, заждались.

Что-то странное шевельнулось под Валиным сердцем.

Оглядывая сидящих, она благодарила машинально. Антонина Ивановна угощала радушно – предлагала то рыбу, то салат.

Первым слово взял Иосиф:

– Что ни говори, но экзамены – дело нешуточное. Не очень приятное, иногда и вовсе противное. Поскольку Тачки нет, а остальные выросли, приведу рискованное сравнение. Что в первобытном обществе делало девушку полноценным человеком? Правильно, – он воздел палец, – дефлорация. А в нашем? Высшее образование!

– Ну ты и трепач! – Маша-Мария смяла бумажную салфетку.

Валя слушала недоуменно. По правде сказать, она не совсем поняла.

Поглядывая на сестру, Иосиф говорил о каком-то *ноу-хау*, которое она обязательно должна запатентовать.

– Ну какое такое *хау*? – Михаил Шендерович нахмурился и поднял рюмку. – Добросовестность – вот универсальный рецепт.

– Не скажи, дядя Миша, на хитрую *лопасть* и *клин* с винтом, – снова Иосиф говорил непонятно.

– Ты, может быть, помолчишь?

Валя удивилась злости, плеснувшей в голосе новой подружки, и, коснувшись губами рюмки, вдруг поняла: эти двое –

евреи. И Иосиф, и Михаил Шендерович.

Нет, о евреях Валя не думала плохо. Город, в котором она выросла, был многонациональным. В нем жили и евреи, и татары, и башкиры, но как-то в стороне от Валиной жизни. Конечно, их дети ходили в школу. В ее классе тоже учился Левка, когда-то они даже сидели за одной партой, но *об этом* Валя узнала не сразу. Однажды, кажется, в шестом классе, ее попросили сходить в учительскую за классным журналом. Валя взяла и побежала обратно, но на лестнице случайно споткнулась. И журнал упал. Падая, он раскрылся на последней странице, она заглянула и прочла. Не специально, а так, из любопытства. Имена, фамилии и отчества родителей, а рядом – их национальность. Сокращенно, в самой узкой графе.

Их было много: и «*рус.*», и «*тат.*», и «*башк.*». А еще – это Валя тоже заметила – они стояли парами: «*рус.*» с «*рус.*», «*тат.*» с «*тат.*», «*башк.*» с «*башк.*».

Напротив Левкиных стояло «*евр.*». Это «*евр.*» выглядело как-то по-особому.

Она испугалась и захлопнула журнал.

Валя была пионеркой и твердо знала, что *так* думать нельзя. Однажды, еще в первом классе, Рафка Губайдулин сказал, что у татар – собственная гордость, а Ольга Антоновна устроила ему выговор, сказала, что все они – советские люди, одна большая семья: и русские, и татары, и башкиры.

Но про евреев ничего не сказала. Валя помнила тот случай и догадывалась – почему. Воспитанные люди говорили иначе. Однажды мама и тетя Галя разговаривали про учительницу химии, Розу Наумовну, и мама сказала: «Знающая женщина, прекрасный, требовательный педагог, *евреечка*...»

Это слово мама произнесла стеснительным шепотом, как будто украдкой, потому что была воспитанным человеком.

– А Таточка – это кто? – Валя услышала и зацепилась за новое имя, уводившее от неприятных мыслей.

– Таточка – это Танька, моя младшая сестра, – Маша-Мария объяснила, и все закивали.

– У тебя сестренка! – Валя обрадовалась, потому что всегда мечтала о сестре или о братике, но сестра – лучше. И почему-то вспомнила: у Розы Наумовны тоже двое, девочка и мальчик.

– Как вам показались экзамены? – Михаил Шендерович обращался к Вале.

– Показались, в смысле – понравились? – Иосиф встрял ехидно.

– Конечно, я волновалась, но в общем... Нет, ничего. Я думала, будет страшнее.

– Спрашивали объективно? – Михаил Шендерович продолжил настойчиво.

– Господи, ну а как же может быть иначе в нашей отдельно взятой, но объективной стране! – двоюродный брат и тут не

смолчал.

– Знаете, если бы ставили объективно, Маша должна была получить все пятерки с плюсом! Я слышала ее ответы, – Валя воскликнула с жаром, и щеки отца залил счастливый румянец. Так же жарко, словно боролась с какой-то несправедливостью, Валя вдруг сказала: – Мама просила передать вам свои поздравления и большой привет.

Родители улыбнулись разом и попросили передавать ответные поздравления, и, глядя в улыбочивые лица, Валя совершенно успокоилась. Неприятные мысли ушли, исчезли сами собой. Весь остаток праздничного вечера она больше не вспоминала о *сокращениях*. Они остались там, в классном журнале. На самой последней странице.

Поздним вечером, вернувшись к себе в общежитие, Валя вспомнила Антонину Ивановну и подумала о том, что мать ее новой ленинградской подруги тоже не придавала значения всем этим сокращениям, когда выходила замуж за Михаила Шендеровича, против фамилии которого – если бы их дочь училась в Валином классе – стояло бы не «*рус.*», а «*евр.*».

3

После Валиного ухода Мария позвала брата в другую комнату, и между ними начался разговор, в котором Валя и во все не поняла бы ни слова. Хотя и заметила бы разительную перемену: веселость, красившая их лица, уступила место тя-

гостной озабоченности. Сидя друг против друга, они разговаривали вполголоса, приглушенно.

– Видишь, я говорил, получится, – в голосе Иосифа звучало упорство. Он подошел к двери и, убедившись, что никто не услышит, повторил пословицу про *клин* и *лопасть*, но по-другому, грубо, так что Мария сморщилась, и эта мелькнувшая гримаса показалась бы Вале страдальческой.

– А вдруг вскроется? Там ведь тоже не идиоты. А потом, все-таки... – сестра замялась, не решаясь договорить.

– Что? Морально-этический кодекс? – брат закончил раздраженно. – Брось! В этой грязи... Выискивать этику и мораль? Вот уж действительно, жемчуг в навозе. Да и не станут они доискиваться. В *их* мозгах такое не родится. Привыкли, что верноподданные приносят на блюдечке. Стучат сами на себя.

Мария понимала, знала, что такое *их*. Давным-давно, когда она училась в девятом классе, брат рассказал ей страшную правду: «Понимаешь, миллионы. Миллионы уничтоженных людей. Ты только представь себе... Они идут по дороге. Это – как у Данте...»

Тогда она попыталась, но не смогла. Миллионы, уходящие в небо. Миллионы, уничтоженные теми, кого – вслед за братом – привыкла называть *они*.

– Да разве я о них? Перед ними? Я же о папе, – Мария говорила жалобно, – если папа узнает...

– Вспомнила десять заповедей? – Иосиф поморщился и дернул щекой. – Как же там?.. Не произноси ложного свидетельства, почитай отца своего и мать свою? Да, вот еще: не убий. Звучит заманчиво. Только, если я ничего не путаю, все эти заповеди Моисей получил *после* египетского плена. Заметь, не в процессе. Ладно, оставим дурацкие шутки... – помолчав, Иосиф начал снова. – Полагаешь, были другие варианты?

– Да пойми ты – я не боюсь, – оглядываясь на дверь, Мария заговорила шепотом. – Но если они – подлые, почему я должна уподобляться? – она смотрела с надеждой, как будто ясное слово брата могло и должно было успокоить. – Я хочу одного – понять.

– Что понимать? – Иосиф мотнул головой. – Они нападают, мы защищаемся. Нормальные военные действия, считай, партизанская война. Насколько я знаю, лесные братья не особенно стеснялись себя в средствах.

– Да нет, ты не думай, я же не жалею. Но это *ужасно унижительно*... – рука, пробежав по вырезу блузки, коснулась шеи.

– Да... – Иосиф покачал головой. – И это – с твоей-то пятеркой по русскому. Унижительно?! Да это не ты – тебя унижают. Или скажешь – нет? Да. Система. Граждане второго сорта. И, что характерно, никто ни в чем не виноват.

– Но за что? – сестра смотрела беззащитно.

– Брось! Не ломай голову. Много умов, почище наших,

билось над этой задачкой, – на губах Иосифа заиграла кривая усмешка. – Чем больше думаю, тем решительней убеждаюсь: правильное решение – валить. В этом смысле я – готовый сподвижник Моисея. Если бы не *допуск*... – он махнул рукой.

Последнее время Иосиф все чаще заговаривал об отъезде. И каждый раз Мария пугалась, как будто брат говорил о смерти.

– Чай будете? – Михаил Шендерович заглянул в комнату.

– Всё. Пустые разговоры, – Иосиф поднялся. – Пора и честь знать.

Проводив брата, Мария поплелась в ванную. Дверь оказалась запертой – похоже, Панька снова взялась стирать.

– Прасковья Матвеевна, вам еще долго? – она обратилась вежливо.

Из-за двери буркнуло, и, не расслышав, Маша отошла.

В этой квартире, восхитившей провинциальную гостью, их семье принадлежало две комнаты. Первая – гостиная и родительская спальня. За ней – вторая, поменьше. Там они жили с младшей сестрой. Из прихожей начинался коридор, уходивший на кухню. Между кухней и ванной была еще одна комната, в которой обитали две старухи, Ефросиния Захаровна и Прасковья Матвеевна – мать и дочь. Подслеповатую соседскую комнату, выходящую во второй двор единственным окошком, Иосиф, вечный насмешник, величал *люд-*

ской. Маша фыркала и обзывала его графом.

Свои комнаты Машина семья получила еще до ее рождения. Отцу предоставили от института, где он работал главным инженером. Давно, лет двадцать назад. В отличие от них, соседки-старухи были старожилами – въехали во время войны. А еще раньше квартиру занимала одна семья, Панька говорила: немцы. В начале войны эти немцы куда-то исчезли. В детстве Маша не задумывалась об этом – исчезли и исчезли. Мало ли, куда.

В те времена, когда еще не было никаких скандалов, Панька любила рассказывать о том, что их дом разбомбили. Говорила: «Случилось прямое попадание». Поэтому им и дали новый ордер, сюда, в эту парадную. Так и сказали: ордер на *любую* свободную. «Управдом привел и говорит – выбирайте. Нынче свободных много. Почитай, в каждой квартире. Вот, – Панька рассказывала неторопливо. – И пошли мы по этажам. Свободных-то было много, прямо глаза разбегаются. А эта – хоть и поменьше, да так похожа на нашу, прежнюю...»

Свои рассказы Панька заканчивала одинаково: «А немцам этим, так им, проклятым, и надо. Поделом». Мама слушала и кивала.

Потом, кажется, в девятом классе, Маша спросила, и брат объяснил: немцев выслали сразу, в начале войны. Не то в Казахстан, не то еще дальше. Опасались, что будут сотрудничать с фашистами.

В первые годы с соседями уживались мирно. Мама даже научила Паньку печь дешевое, но вкусное печенье на маргарине, и Панька частенько заходила к ним в гости: поплакаться о своей жизни, о давно ушедшей молодости, которую заела старуха-мать. Было время, когда родители, уходя на работу, оставляли Машу на Панькино попечение, и она сидела в соседской комнате, а баба Фрося угощала ее овсяным киселем.

Мирное житье закончилось лет пять назад, на Машиной почти уже взрослой памяти. Скандал начался из-за коммунальной уборки. Тогда была Панькина очередь убирать места общего пользования: кухню, ванную, туалет и коридор. Не сменив воду после коридора, Панька принялась возить тряпкой по унитазу. Мама увидела и сделала замечание. Панька что-то буркнула, а мама как закричит: «Развели грязь! Привыкли, как у себя в деревне!»

Маша помнила, как выскочила в коридор и увидела: обернувшись от унитаза, Панька утерла лоб и сплюнула *это* слово. Конечно, она целилась в маму. Но *оно* хлестнуло и впилося в Машину голову, в самый висок. Впилося и засело острым осколком.

Маша бросилась в свою комнату, но только вечером, когда отец вернулся с работы, вдруг сообразила: слово, брызнувшее соседской слюной, не имеет ни малейшего отношения к матери. Получалось, что мать отвечает за отца, к которому старухи-соседки обращались с каким-то опасливым,

даже заискивающим почтением. Всегда здоровались первыми, когда Михаил Шендерович выходил на кухню.

С этого дня коммунальная жизнь совсем изменилась, скандалы вспыхивали по любому поводу, и слово, засевшее осколком, долетало до Машиных ушей. С мамой старухи ругались охотно и по-свойски, но стоило появиться отцу, смолкали и уползали к себе в комнату. Впрочем, последнее время коммунальные бои вела одна Панька: Фроська вообще не выходила. Весной Панька привела кого-то и караулила под дверью. Маша видела, но не поняла. Пока мама не сказала папе: «Фрося еле живая, сегодня Панька приводила попа», – и бросила острый взгляд.

Отец поежился и кивнул. По привычке, считая дочь маленькой, родители не разговаривали *об этом* в открытую, но Маша поняла: после смерти старух их семья сможет претендовать на третью комнату. Вечером, затаившись под дверью, она подслушала. Мама объясняла папе: «Комнату девочек должны признать *непригодной*. Официально. Задней стенкой она примыкает к соседней квартире: там, у этих соседей, туалет».

«О чем мы с тобой говорим, – отец сокрушался горестно, – живые же люди!»

То ли поп помог, то ли Панька суежилась зря, но лето прошло спокойно. Отец пропадал на работе – сдавали узбекский проект. Мама с Таткой жили на даче. Отец ездил к ним на выходные. Маша корпела над учебниками, на кухню выхо-

дила редко – сэкономила время, питаюсь всухомятку. Сталкиваясь в прихожей, здоровалась сдержанно. Панька поджигала губы: «Здрасьте». За зиму родительские разговоры забылись.

– Можно подумать, я собираюсь их отравить! – перемыв посуду, мама вернулась в комнату.

Маша слушала, таясь под дверь.

– Что я могу, если ты не требуешь у начальства? Не они – я сдохну. В этой проклятой коммуналке!

– Пожалуйста, не начинай, – отец говорил тихо. – Ты отлично знаешь: я не могу, не могу просить.

– Конечнo! – мамин шепот зазвенел. – Если тебе *вдруг* дадут эту чертову комнату, отдельную квартиру, твои институтские подумают и решат: ты – хитрый еврей. Да будь ты и вправду хитрым, господи, давно бы уехали. И жили по-человечески... Правильно говорит Ося!..

– Прекрати! – отец заговорил громко. – Я здесь родился и никуда отсюда не поеду...

Маша толкнула дверь и вышла из своей комнаты:

– Учти, – она обращалась к матери. – Если вы уедете, на меня можете не рассчитывать. Я останусь здесь.

Родители испуганно смолкли.

Не дав им опомниться, дочь хлопнула дверью и заперлась у себя.

Слова брата не убеждали. Раньше, когда план строился втайне, уверенность Иосифа действовала заразительно. Теперь, после того, как все блистательно завершилось, Маша поникла. Часами, обхватив колени, сидела на подоконнике. Мысли возвращались к последним школьным годам.

Она вспомнила многолетнее упорство, с которым, далеко опережая школьную программу, читала любимые книги по истории, потому что давным-давно, лет, наверное, с тринадцати, мечтала поступить на исторический. С этой страстью могла соперничать только любовь к литературе: собрания русских классиков, стоявшие на домашних полках, Маша зачитала до дыр. Ее сочинения были глубокими и содержательными, и учительница, особенно в старших классах, не раз советовала ей идти на русскую филологию. Но история казалась важнее – давала ответы на самые интересные вопросы: почему?

Однажды Маша поделилась своими планами с Иосифом, но брат сказал, что на этот вопрос отвечает любая наука, взять хоть его химию. Машу не убедил его ответ. Естественнонаучные предметы никогда не казались ей важными, хотя и по ним она получала пятерки и даже участвовала в городских олимпиадах по биологии, каждый год доходя до третьего – университетского – тура. Длинный и прямой коридор Двенадцати коллегий, в аудиториях которого проходили биологические олимпиады, благоухал книжной пылью, и, равнодушно вещая про тычинки и пестики, Маша вдыхала

ароматы своей близкой *исторической* судьбы.

К ее выбору родители отнеслись скептически. «В нашей стране у историков незавидная судьба. Это тебе не механика. Все зависит от позиции исследователя. У нас историк вынужден подстраиваться. – Высказав свое мнение, отец, как обычно, предостерег: – Учти! Что сказано дома... В общем, ты меня понимаешь. Не для чужих ушей». Кажется, он и вправду считал, что в своих родительских увещеваниях зашел непростительно далеко.

О том, что история – не самая твердая почва, Маша и сама догадывалась, но утешала себя тем, что выберет правильную область, например, Древний мир или Средневековье. Позволяют же Валентину Янову изучать и комментировать новгородские берестяные письма.

Мама заходила с другой стороны. Ее возражения сводились к тому, что у выпускницы исторического факультета нет будущего. «Кончится тем, что всю жизнь будешь работать в школе». Школьная история виделась ей жалким и второстепенным предметом. Не то чтобы у мамы были конкретные планы относительно будущего старшей дочери, но смутные чаяния, питаемые Машиними успехами, направляли материнские мысли в сторону Института Иоффе, где Иосиф, племянник мужа, работал старшим научным сотрудником. В этом институте проектировали космические аппараты, а сам Ося изобретал для них новые источники энергии, о чем вне

семейных стен, конечно, тоже не следовало упоминать. Работа Иосифу нравилась. К своим тридцати двум он успел защитить кандидатскую и теперь стоял на пороге новой защиты, которая должна была принести не только почетное звание, но и должность заведующего лабораторией. В многочисленной семье Иосифом по праву гордились. Маша – пока, конечно, авансом – занимала второе место. Остальные братья успехами не блистали. По разным городам и весям их набиралось человек двенадцать. Скрупулезный подсчет мог дать и более внушительную цифру, но чьи-то следы терялись на дальних континентах и материках. Как бы то ни было, но и двенадцать – достойное число, позволявшее Иосифу, отталкиваясь от их родовой фамилии, называть всю эту братию *аргонавтами*. Сестер было две, но Татку, учитывая ее юный возраст, на этой переключке успехов пока что во внимание не принимали. Не брали в расчет.

Иосиф был умным, и довод, который он, убедившись в том, что Машино решение серьезно, привел незадолго до ее выпускных, был сильнее родительских. Сидя на холодном подоконнике, Маша вспоминала его слова: «По-своему твои родители, конечно, правы. Но главное не в этом. История – поле идеологическое. Тут государство бдит особо, требует первозданной чистоты. В общем, ты должна понять: с твоей анкетой на истфак не светит».

Это Маша уже понимала: брат имеет в виду *кровь*.

Раньше они с братом об этом не разговаривали. С родите-

лями – тем более. Не то чтобы тема была запретной, но какой-то скользкой. Об этом было неловко говорить.

Однажды, в детстве, Маша принесла домой слово *жид*. Она думала, оно означает «жадина». Мама ужасно разозлилась: «Это гадкое слово. Ты не должна его повторять. Потому что, – мама смутилась и покраснела, – твой отец – еврей».

Стесняясь неприятной темы, она все-таки напомнила: в паспорте – на этом настояла мама – в *той* графе значится «русская», но брат дернул плечом и объяснил: «Первый отдел копает вглубь. В твоём случае эта *глубь* весьма условна – хорошей лопате на один штык. Впрочем, ты девушка: не в армию, – глядя в ее хмурое лицо, брат улыбнулся и махнул рукой. – Пробуй».

Хорошо знала материал – в Машином случае это были пустые слова. Все вечера и выходные она проводила в Публичной библиотеке, досиживая до самого закрытия, и, возвращаясь домой по темным улицам, уговаривала себя: во всяком деле случаются исключения. А вдруг ей попадется честный экзаменатор, который плюнет на эти подлые инструкции и оценит ее знания по справедливости...

Боль, похожая на позор, сдавила Машино сердце. Она опустила голову и замерла.

Давным-давно, когда ей было лет пять, она услышала выражение *военная машина*. В те времена у них еще не было телевизора, но Маша любила слушать радио. В передачах, в

которых рассказывали про войну, встречалось слово *свастика*. Этому слова Маша не понимала, но потом, когда родители купили телевизор, наконец поняла: свастика – фашистский знак, состоящий из скрещенных палок. Маше он представлялся военной машиной, похожей на паука. Железный паук полз впереди вражеского отряда, подминая под себя наших бойцов.

Этот паук, которого Маша всегда боялась, всплыл в памяти в тот самый полдень, когда закончился ее единственный университетский экзамен.

Начало не предвещало недоброго. Если бы не предостережения брата, она вообще бы не особенно трусила, но теперь, войдя в аудиторию, опасно огляделась: абитуриенты сидели по углам, уткнувшись в исписанные листки. Впереди, на возвышении, за столами, поставленными в ряд, располагались экзаменаторы: видный пожилой мужчина и молодая интеллигентная женщина, во всяком случае, на Машин взгляд.

Вытянув билет и едва взглянув, она обрадовалась. Ей попались очень хорошие вопросы. Остатки страха ушли.

Заняв свободное место, Маша привычно сосредоточилась. Перед глазами одна за одной открывались нужные страницы, так что пальцы, державшие ручку, едва успевали выводить значки и обрывки слов, из которых должен был сложиться ее ответ, развернутый и логичный. Перелистывая мысленно, Маша выбирала главное. Никакому экзаменатору не хватило бы ни сил, ни времени выслушать все.

Парень, отвечавший молодой женщине, перешел ко второму вопросу. Дописав развернутый план, Маша отложила ручку.

«Знаю, я знаю... – девочка, сидевшая напротив пожилого мужчины, остановилась на полуслове и громко всхлипнула. – Я все знаю. Просто забыла... У меня – золотая медаль».

Маша видела: экзаменатор растерялся. Тихим голосом он бормотал утешающие слова. Прислушиваясь, Маша поняла: речь идет о четверке. Медалисты, получившие четверку на первом экзамене, сдавали остальные на общих основаниях. Пятерка давала право на автоматическое зачисление. К ней самой это правило никак не относилось: в аттестат вкралась четверка по физкультуре, пресекая родительские надежды на золотую медаль.

«Пожалуйста, задайте дополнительный», – девочка-медалистка упрашивала, размазывая слезы. «Хорошо, хорошо, успокойтесь», – он задал простейший вопрос. На этот вопрос Маша ответила бы, не задумываясь. Но лицо девочки пошло багровыми пятнами, и, не совладав с собою, она расплакалась в голос. «Я не могу... Забыла... Ничего не помню...»

В аудитории стояла тишина.

Все, кто сидел за партами, подняли головы.

«Разве можно... Не надо... Вот. Разве я...» – преподаватель раскрыл белую карточку.

Растерянно улыбаясь и стирая высыхающие слезы, девочка-медалистка кинулась к двери.

«Пятерка, пятерка, мама, я поступила!» – из-за двери донесся торжествующий крик. Экзаменатор поднялся и вышел следом.

Оглянувшись и не заметив других претендентов, Маша пошла к столу.

Едва сверяясь с закорючками, она отвечала легко и собранно. Женщина-экзаменатор кивала. Покончив с первым вопросом, Маша перешла ко второму.

«Очень хорошо, замечательно, – преподавательница похвалила и потянулась к ведомости. – Как ваша фамилия?»

«Арго. Мария Арго».

Она ответила и поняла: что-то случилось.

Отложив ручку, преподавательница шарил в ящике стола. На поверхность вышел какой-то список, и, сверившись, женщина подняла на Машу потухшие глаза. Уголки ее губ дрогнули, и, глядя мимо Машиных глаз, она сказала, что у нее есть еще один вопрос, дополнительный, и отличную оценку, которую Маша заслуживает ответом на основные, она сможет выставить только в том случае, если...

И Маша кивнула.

Женщина вынула еще один лист и просмотрела внимательно. Она еще не успела раскрыть рта, но Маша все поняла: нигде и никогда – ни в учебниках, ни в дополнительных книгах – ей не встречался ответ, который сейчас от нее требуют.

Наши потери на одном из фронтов.

Всей отлетевшей душой она поняла: дело не в цифре. Мир распался надвое. Не мир – она сама. Ее душа разделилась на две половины. Первая, уверенная и собранная, листала страницы, надеясь вспомнить. Но другая – маленькая и жалкая – затрепетала и всхлипнула, как девочка-медалистка. Чужим придушенным голосом – этот звук Маша навсегда запомнила – она попросила задать ей другой вопрос.

«Я не могу... Просто *не могу* поставить вам пятерку», – женщина заговорила потерянно, и, понимая, что больше не простит себе такого унижения, Маша кивнула и замолчала. Почти благодарно, словно девочка-абитуриентка сняла с ее души непомерную тяжесть, женщина вывела оценку: «Четверка – очень высокая...» И всей отчужденной половиной Маша поняла: для *нее* четверка была наивысшим баллом, на который эта женщина могла решиться.

Выйдя из аудитории, Маша спустилась вниз. В комнате, где несколько недель назад она подала документы и заполнила анкеты, дежурила девушка, похожая на студентку. Выслушав Машину просьбу, она отвела глаза.

Маша шла по набережной и смотрела в небо. Над Дворцовым мостом, словно черная радуга, стояли два слова, вернувшиеся из детства: *военная машина*.

Дома она сообщила родителям, что забрала документы, и, не вдаваясь в объяснения, сказала: с четверкой по главному предмету рассчитывать не на что. Вечером приехал Иосиф.

Запершись с ним в комнате, Маша рассказала во всех подробностях. Он кивал и морщил губы. Страдая, Маша морщилась в ответ. В первый раз на ее губах, как прыщ после детской болезни, расцветала презрительная усмешка, похожая на усмешку брата.

Отец назвал решение малодушным. Всей ссохшейся душой Маша соглашалась, но ничего не могла с собой поделаться.

«Без диплома. Кем ты станешь – уборщицей? Четверка – не повод сдаваться. У меня самого в матрикуле попадались четверки, – этим словом в отцовское время называли зачетную книжку. – Но я не складывал рук. Хотя, между прочим, еще и работал на производстве».

Воодушевленно, как о самых счастливых временах, отец рассказывал о своей вузовской юности, когда ему, недавнему выпускнику рабфака, приходилось совмещать учебу в Политехническом с работой на заводе Марти. Этапы славного пути, на котором, много лет спустя, он стал наконец главным инженером научно-исследовательского института, требовали усилий и самоотдачи. Эти рассказы Маша слышала не раз.

Теперь, после *скверного* экзамена, ей хотелось одного: чтобы он замолчал. Иначе она выкрикнет ему в лицо всю саднящую правду...

Через три дня, страдая от родительских упреков, Маша устроилась уборщицей в сберегательную кассу – на Невском,

угол Литейного. Эта работа была временной. В сентябре возвращалась постоянная женщина – уехала с сыном в пионерский лагерь.

Маша приходила к закрытию и, дождавшись, когда помещение освободится, принималась мыть, начиная с туалета. К девяти заступал дядька из вневедомственной охраны. Развесив мокрые тряпки, Маша отправлялась домой. Пешком, как в прошлом году, она шла по распаренному Невскому – как будто возвращалась из Публички. Солнце, уходящее за горизонт, ложилось косыми лучами. Ловя ускользающий свет, Маша представляла себе: *этого* не было. Паук – просто кошмар, дурной сон. От этого сна еще можно очнуться.

По ночам Маша щипала себя до синяков.

Пока однажды не осознала: на самом деле паук никогда не обманывал. Дождался, пока она подрастет. Время от времени, словно боясь, что Маша о нем забудет, напоминал о себе *этим словом*, шипящим в коммунальных скандалах.

Теперь Маша понимала молчание матери и недогадливую деликатность отца. Они молчали потому, что *жиды*, выползавшие из Панькиной глотки, в сущности, относились не к ним. Этим словом железный паук целился в их дочь. Заранее ставил метку, чтобы однажды, дождавшись своего часа, расправиться, прокусив ее кожу: водя рукой по шее, Маша чувствовала ранку – след от его челюстей. Он оставил его намеренно, чтобы люди, с которыми сведет ее взрослая жизнь, могли различить.

Они и различали.

Оформляя документы, она заполнила анкету, и заведующая, изучив карточку, посмотрела на нее внимательно. Маша помнила ее короткий, собранный взгляд. Взгляд остановился на Машиной шее. Она повела плечом, пытаясь сбросить его, как опасное насекомое, но паучий укус занял и воспалился – Маша едва удержалась, чтобы не почесать.

Впрочем, потом заведующая хвалила Машу за усердие и даже выписала ей премию – десять рублей.

На исходе августа Маша встретила свою одноклассницу, которая поступила в университет на вечернее отделение. Вечерникам полагалось работать, по крайней мере, приносить специальные справки. Галя сказала, что узнавала и выяснила: свободные ставки есть в Библиотеке Академии наук, в иностранном хранилище. Сама она устраиваться не хочет, но может объяснить, как и куда.

4

Сумрачное здание библиотеки высилось на площади за университетскими корпусами. Начальник отдела кадров взглянул на паучий укус равнодушно, забрал трудовую книжку и приказал выходить на работу первого сентября.

День выдался солнечным. Маша оглядывала стайки нарядных школьниц и думала о том, что не понимала своего счастья. О невероятном счастье студентов она не дерзала

и думать. Их счастливые голоса летели из открытых окон, когда Маша, поминутно поправляя пестрый шейный платочек, бежала от троллейбусной остановки по университетскому двору. Длинный проходной двор тянулся вдоль здания Двенадцати коллегий и выводил на библиотечную площадь. Счастливые голоса студентов разбрелись по аудиториям и стихли над чистыми тетрадами.

Заявки из читального зала поступали в хранилище каждый час. С этого момента включался механизм, отсчитывающий время. На поиск заказанной книги отводилось ровно сорок минут. Старшая штамповала заявки и распределяла между младшими сотрудниками. Вдоль бесконечных стеллажей, помеченных номерами шифров, Маша катила тележку и, сверяясь с требованиями, останавливалась у боковых проходов. Про себя она звала их штольнями.

Штольни были сумрачными и узкими. Нащупав язычок выключателя, Маша зажигала подслеповатую лампочку, висевшую под потолком. Внимательно вглядываясь в книжные обложки, она углублялась в просвет, страстно желая одного: чтобы шифр, выставленный в требовании, оказался где-нибудь пониже. Ходовые номера большей частью действительно располагались на нижних полках, но случалось, нужный шифр стоял на самом верху. Тогда, пристроив на полку стопку необработанных заявок, Маша цеплялась пальцами за края стеллажей и карабкалась вверх к пыльному свету лампочки, чтобы там, упершись обеими ногами, вынимать

тома периодических изданий – один за другим. Случалось, читатели, заполнявшие требования, не вписывали номер тома, полагаясь на опыт библиотекаря, способного отыскать нужную статью по одному названию. Ноги предательски дрожали, но, зажав под мышкой найденную книгу, Маша уже сползала вниз.

На исходе отведенного времени младшие библиотекари появлялись на божий свет, толкая перед собой груженные тележки. Старшая раскрывала каждую книгу, сверяя данные, и первое время частенько случалось так, что новички бежали обратно. Орлиным оком она выявляла малейшую ошибку: «Здесь не тот шифр. С литерой. Иди и ищи».

Подобранные книги сдавались с рук на руки курьеру. До следующей партии оставалось минут пятнадцать. Библиотекари имели право отдохнуть. Одетые в черные халаты и платки, повязанные до бровей, они сидели, сложа руки. Едкая книжная пыль, с которой не справлялась уборочная бригада, висела в воздухе. На кончиках пальцев, шаривших по страницам, оставался свинцовый след.

Библиотекари ходили в общий буфет на первом этаже, и читатели, стоявшие в очереди, безропотно пропускали вперед этих черных призраков: даже в обеденное время никто не снимал халатов. Читательницы одевались нарядно. Сидя за своей тарелкой, Маша чувствовала себя исчадием хранилищ.

Иногда выпадали счастливые дни, когда старшая изымала

кого-нибудь из часового круга и вручала ему пачку требований по МБА. Эта работа не подчинялась обычному расписанию: книги по межбиблиотечному абонементу надо было подобрать до конца дня.

Однажды, изучая полки с книгами, Маша наткнулась на ряды стеллажей, стоящие особняком. Эти полки не пометили шифрами. Вечером, сдавая дневной урок, она поинтересовалась у старшей, и та неохотно объяснила: собрание учебного-историка. Его личная библиотека, завещанная Академии наук еще до революции. В завещании стояло условие: библиотека должна остаться в целости. Нельзя расформировывать.

«Книги – разные, – старшая библиотекарь сказала уклончиво. – Если разобрать, какие-то можно выдавать на руки. А так, – в голосе мелькнуло осуждение, – ни себе, ни людям».

Отчитавшись по МБА, Маша вернулась обратно. В завещанной библиотеке попадались и разрозненные книжки, и собрания сочинений. Подставив лестницу, она забралась повыше и обнаружила коричневые корешки, украшенные золотым тиснением. Полустертым. Но Маша разобрала:

ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем

*Издание Общества для научных Еврейских Изданий
и Издательства Брокгауз-Ефрон*

«Специальное общество?...» – слова, которые она прочла, не вмещались в голову.

Переставляя лестницу, она шарила по полкам.

«Пробуждение еврейской нации».

«Странствующий Израиль».

«Сущность еврейского вопроса».

«Пространный еврейский катехизис. Религиозно-нравственная законно-учебная книга».

Маша взвешивала в руке каждый том.

Никогда раньше она не видела *это слово* напечатанным: странное сочетание букв, означающее отцовскую кровь. Набранное печатным шрифтом, оно выглядело непостижимо. *Еврей* – в отцовском паспорте это слово вывели черной тушью, словно так, не подлежащим книгопечатанию, оно должно было доживать свой век.

Между переплетами попадались и картонные формуляры с карточками инвентаризаций. Первая датировалась 1937 годом. На карточках, замещающих утраты, узким довоенным почерком было написано: данная книга в библиотечном собрании отсутствует. Внизу стояла чернильная подпись. Такие же карточки обнаружились и на соседних полках. Вынимая их одну за другой, Маша убеждалась в том, что не знает этих авторов: фамилии, вписанные в формуляры, не встречались ни в учебниках, ни в дополнительной литературе. Об этом она тоже спросила старшую, и та, покосившись с подозрением, ответила: «Мало ли... Сколько лет прошло. Блока-

да, война...»

Теперь, улучив свободный час, Маша возвращалась и, прислушиваясь опасливо, продолжала обследование. Последняя инвентаризация пришлась на 1963 год. Внимательно сверяясь с карточками, Маша обнаружила: на этот раз в ряду пропавших без вести попадались и знакомые имена. Например, Андрей Белый. Из двух томов «Петербурга» уцелел только второй. Странная мысль тревожила Машу: она не могла выразить яснее, но соотношение имен – известных и неизвестных, – пропавших из собрания в разные годы, свидетельствовало о том, что в этом хранилище действовала *не одна рука*. Дело не в разных почерках. У этих рук – если судить по исчезнувшим фамилиям, от которых остались одни прорехи, – были разные цели.

Смутная догадка подтвердилась в феврале. По библиотеке распространился слух: охрана накрыла вора. Один из сотрудников – Маша видела его мельком – таскал из хранилища книги. Сумел воспользоваться тем, что охрана, дежурившая на выходе, проверяла одни пропуска. Но тут охранник что-то заподозрил, попросил расстегнуть сумку. Тем же вечером к вору нагрянула милиция и обнаружила залежи *отборных* томов. Ворованные книги предназначались для продажи: библиотекари называли известные и соблазнительные *имена*. Что было дальше, точно никто не знал. Похоже – об этом библиотекари разговаривали шепотом, – скандала решили не раздувать. Во-первых, большая часть украденно-

го благополучно вернулась. Во-вторых, пришлось бы делать сквозную проверку. Ее результатов никто – и в первую очередь само начальство – не мог предсказать.

К весне навалилась усталость. Перед глазами стояли литеры и цифры. Каждое число, которое попадалось на глаза, превращалось в шифр – табличку, прибитую к библиотечной полке. И Маша наконец поняла: пора выбираться на свободу. Любой ценой. Последней каплей стала конфетная коробка, которую маме подарили к Восьмому марта. На ребре стояла цепочка цифр. Ясно, словно готовилась войти в штольню, Маша увидела ряд журнальных переплетов – в хранилище они стояли по крайней левой стене.

В разговоре с братом она попыталась вернуться к теме университета, но Иосиф ответил сурово: «Даже не питай иллюзий. В этой машине, может быть, и есть зазоры, но они не для тебя. Добро бы еще – на *матмех*... Туда проскочить можно».

Ссылаясь на собственный опыт, брат убеждал: надо действовать с умом. В свое время, имея отличный аттестат, он сумел пробиться в Технологический, правда, тогда и времена были *слегка другие*. «Но в технические и теперь возможно. Там кадровики не зверствуют: приказано прикрывать один глаз. Сама понимаешь, выпускники должны на *них* работать».

Стараясь объяснить доходчиво, брат привел пример:

«Вот, например, филфак. Оттуда вербуют в разведку. Легче научить филолога шпионским премудростям, чем шпиона – иностранным языкам. Так и с нами, – по обыкновению, брат усмехнулся. – Проще отбирать *по уму*, чем потом разгребать военно-технические неудачи, радуясь расовой чистоте инженерских рядов. Не хочешь в технический, можно рискнуть на экономику. Все ближе к твоей любимой истории».

Маша согласилась скрепя сердце. С воодушевлением, с которым Иосиф привык решать каждое трудное дело, он взялся подготовить ее по математике. Не в рамках школьной программы, а по-другому, с запасом – как в математических школах.

После *майских* праздников Маша подала заявление об уходе и оставшиеся до экзаменов месяцы занималась с утра до вечера. Брат гонял ее по всем темам и в середине июля, устроив жестокий экзамен, признал: «Все. Ракета к испытаниям готова».

Снова, как в прошлом году, родители заговаривали о будущем. Но Маша отмалчивалась: вровень с тем, как росли ее математическими познания, поднимался ужас пройденного. К концу июля он стал невыносимым.

«Я... боюсь. Знаешь, иногда... *все* готова бросить. Не подходить на пушечный выстрел».

Едва шевеля губами, Маша призналась: у нее сводит пальцы, стоит представить себе, как снова войдет в аудиторию, приблизится к институтским стенам, за которыми таятся ис-

пытующие глаза паука.

Брат выслушал внимательно. «Ладно, – он поднялся и зашагал по комнате, – будем считать, перед нами – *техническая* задача, которую надо решить любой ценой. Предлагаю разбить на факторы, имеющие – в зависимости от вероятности их влияния на результат – положительный или отрицательный знак. К экзаменам ты подготовлена отлично. Этот фактор работает на нас, – он ходил от стены к стене, как будто Машина комната стала его химической лабораторией, и рассуждал вслух. – Положительному противостоят два других. Их влияние способно свести на нет все преимущества. Значит, – Иосиф остановился у книжных полок, – эти факторы необходимо нейтрализовать».

Маша слушала, не понимая. То есть, конечно, она понимала, *что именно*, говоря об отрицательных факторах, брат имеет в виду. Они, присущие ей от рождения, могли исчезнуть только со смертью.

Иосиф оперся о стеллаж: «Да. Факторы, конечно, не равнозначны. Это значит, что нам надо действовать наверняка. Фамилия – явно не русская, но, – он помедлил, – в общем, неплохая. В конце концов, на евреях свет клином не сошелся. Мы тоже, как говорится... интернационалисты», – взгляд Иосифа скользил по книжным корешкам.

«Рассказы эстонских писателей».

Иосиф раскрыл и углубился в содержание. Наконец, победно присвистнув, ткнул указательным пальцем: «Вот. Отлично. Простенько, но со вкусом: Тоомас». – «Кто?» – «Мой дядя и твой отец. Арго Михаил Тоомасович. Национальность – эстонец. Место работы – объединение “Светлана”, мастер сборочного цеха».

Маша слушала, недоумевая.

«Мать... – не выпуская книги из рук, Иосиф присел на кровать. – В пятом пункте – порядок, дай бог каждому: Глебова Антонина Ивановна, русская... Остается место работы. С этим хуже. Думай».

«О чем?» – она смотрела на книжную обложку.

«О гармоническом единстве, – брат закрыл книгу. – Правильной национальности должно соответствовать правильное социальное положение. В этом случае задачка решается легко. Ну, кто у нас мать?»

«Домохозяйка, – Маша пожалала плечами. – А вообще инженер-технолог».

«Ладно, – Иосиф принял решение, – делаем так: семейная династия. Объединение “Светлана”, рабочая, сборочный цех. Кстати, в рабочих семьях семейственность только приветствуется».

«А если *они* проверят?» – Маша наконец поняла. Легенда, похожая на шпионскую, которую брат выдумывал, затевая опасную игру. В этой игре ей отводилась роль разведчицы: девушки, уходящей на задание в самое логово врага.

«Я похожа на Зою Космодемьянскую? Это что, “Повесть о Зое и Шуре”?» – Маша вспомнила книгу, любимую с детства.

«Ну, во-первых, до пыток не дойдет. И вообще... Не стоит переоценивать их усердие. А во-вторых, на войне как на войне», – он произнес непреклонно.

Военная машина. Маша вспомнила и закрыла глаза.

«Брось, – Иосиф взял ее руку. – Бояться нечего. Мы же с тобой аргонавты. Глядишь, и доплывем... – он встал и опять зашагал по комнате. – Нет, ты-то, пожалуй, та самая голубка...»

Маша улыбнулась. Достигнув плавучих скал, которые сближались и расходились, аргонавты выпустили вперед птицу. Она успела пролететь, повредив перья хвоста. Кормчий, посчитав это благоприятным знаком, направил корабль между скалами. «Арго» сумел проскочить, повредив корму. С того дня плавучие скалы застыли навечно. Но между ними остался узкий проход.

«Ладно, – она ответила. – Голубка так голубка. Бог с ним, с этим хвостом».

5

У дверей стояла недлинная очередь. Она двигалась довольно быстро, и Маша не успела испугаться как следует. Лысоватый дядька, руководивший девочкой-секретаршей,

указал на стул. Девочка подала бланк, и, мысленно сверяясь с затверженной легендой, Маша заполнила: графу за графой.

Лысоватый дядька углубился в работу.

«...Так-так, Тоомасович... эстонец... Хо-ро-шо», – читая анкету, он шевелил губами. Маша сидела, боясь шелохнуться.

«Так-так... Русская. Ну что ж...» – взгляд *особиста* остановился на Машиной шее. Почти физически она почувствовала, как он вспухает – паучий укус. Замерев, она представила: вот сейчас он ткнет своим опытным указательным пальцем, и она побежит из этого здания, роняя лживые листки.

Губы лысоватого сложились в довольную улыбку: «Поня-ятно. Рабочая. Мастер сборочного цеха...»

Сложив развернутую анкету, он вывел букву «Р» – в верхнем углу. Лист, отмеченный красной меткой, лег в правую пачку. Опытным глазом библиотекаря Маша отметила: листы, лежащие справа, помечены одинаковым шифром. Слева лежала пачка потолще. На этих анкетах ничего не было – ни литер, ни цифр.

«Идите и готовьтесь», – лысоватый напутствовал по-доброму, словно радовался тому, что ее случай – пусть и не самый обычный, но вполне благоприятный, как ни крути.

Стараясь ступать медленно и ровно, Маша вышла за дверь. Она шла по коридору, чувствуя в руке пустую экзаменационную карточку. Свернув, остановилась и вспомнила другое слово: *аусвайс*. На этот раз ее карточка была чистой.

Любой патруль, попадись он ей на дороге, отпустил бы с миром. Коридор свернул неожиданно и круто. Маша перевела дух.

Длинный коридор, в который она попала, совсем не походил на университетский. Этот был изогнут и темен. Она шла, не решаясь остановиться, и представляла себе комнату, которая осталась за спиной. Маше казалось, что лысоватый уже накручивает телефонный диск, пытаясь связаться с университетом, где остались ее подлинные документы. Прошлогодний *грязный* аусвайс.

Снизу, из-под мутного перекрестья, забранного плитками, пробивался неверный свет. Она увидела люк и, не решаясь шагнуть дальше, замерла на самом краю. Там, под полом, по которому она надеялась ходить полноправно, скрывался глубокий подвал. В него бросают тех, кого подручные лысоватого ловят за руку. Маше казалось, она слышит их стон...

Звук чужих шагов поднялся за спиной. Боясь обернуться и встретиться глазами, она смотрела вниз. Девушка, идущая по коридору, поздоровалась и остановилась рядом. Маша вступила в разговор, заглушающий подвальный стон.

Глава 2

1

Первые месяцы учебы, пролетевшие незаметно, были окрашены в счастливые тона. Всякий раз, садясь в автобус, идущий к Невскому, Маша успевала обрадоваться: мрачное здание библиотеки осталось позади. В прошлое канули пачки требований, узкие штольни, черные платки и халаты. Пропуск, который она забыла сдать в суматохе, лежал в глубине стола. Шаря под тетрадями, Маша нащупывала жесткие корочки: никогда они больше не раскроются на проходной.

Институтская жизнь, мало-помалу входящая в колею, восхищала ее самой возможностью учебы, словно Маша осознавала себя жрицей особого культа, предметами которого были тетради, учебники и ручки. С воодушевлением служителя, внешней враждебной силой оторванного до поры от питавших душу ритуалов, она предавалась предметам, о существовании которых прежде не подозревала. До дрожи в пальцах Маша переживала мгновения, когда перед началом занятия раскрывала тетрадь, вынимала ручку и поднималась навстречу входившему лектору.

Технологию отраслей промышленности читал энергичный профессор Никита Сергеевич Белозерцев. На своего

знаменитого тезку он походил разве что головой, лишенной и намека на растительность. Опытной рукой инженера, прошедшего крепкую чертежную выучку, Никита Сергеевич рисовал графики, формально относящиеся к технологическим процессам. Однако сами показатели, выбранные для осей координат, с наглядной очевидностью доказывали: экономические приоритеты, провозглашенные партийными документами, ведут к распаду хозяйственной системы. Поскольку вступают в противоречие друг с другом. Удивительным было то, что Никита Сергеевич, уверенно чертивший графики, не формулировал окончательных выводов. Однако формулы, выведенные тщательно и строго, свидетельствовали сами за себя.

«И как не боится?..» Дома, вчитываясь в конспекты, Маша удивлялась бесстрашию профессора, пока наконец не поняла: анализ каждого графика Белозерцев завершал ритуальными призывами о необходимости усиления научного вмешательства в процесс организации производства, и, восхищенно вздыхая над каждой *последней* формулой, Маша вспоминала слова брата: *технари* – замкнутый орден, существующий на особых интеллектуальных правах.

Эту мысль она попыталась распространить и на математиков, но действительность сопротивлялась попыткам.

На их курсе математику читал Михаил Исаакович Броль, человек молодой, но ужасно нелепый. На работу он являлся в черном обуженном костюме, стеснявшем движения. Каза-

лось, будто костюм перешел к нему по наследству – с чужого, подросткового плеча. Странными были и высоковатый голос, и неугомонные руки, вечно испачканные мелом. Перекладывая мелок из правой в левую и обратно, Михаил Исаакович успевал пошарить по карманам, коснуться узких лацканов и неимоверное число раз вытереть пальцы о брюки-дудочки. К концу занятия они становились полосатыми, похожими на щеголеватые трико – гордость черноусых спортивных красавцев начала века, если не брать во внимание щедедушность их обладателя, в чертах которого Маша ловила сходство с другим своим братом – Геной. Впрочем, от брата Михаил Исаакович выгодно отличался внимательными, чуть влажными глазами. Эти глаза жили отдельно от нелепого тела. Когда правая рука ходко двигалась по доске, оставляя по себе ряды бисерных формул, а левая, вступавшая в дело время от времени, подтирала лишние завитки цифр, его глаза, казалось, глядели куда-то внутрь, в самую глубину. Эту раздвоенность – по-кошачьи аккуратное подтирание элементов, похожее на нервный тик, никак не соответствующее отрешенной сосредоточенности, – студенты и принимали за чудакость.

Машино сердце отзывалось слабыми ударами. Если бы попросили описать точнее, она вспомнила бы кисловатые укусы электрической батарейки – когда ее пробуют на язык. Среди предметов, изучаемых на первом курсе, значилась история КПСС. Ее вела безнадежная во всех отношениях

тетка. Студентам она представилась по-домашнему – Катериной Ивановной. Уткнувшись в свой конспект, Катерина Ивановна бубнила по писаному, совпадавшему с содержанием учебника, и оживлялась лишь тогда, когда ее мысль, неожиданно вильнув в сторону, перескакивала на житейские дела. Ее коньком были разговоры о тяжелой жизни иногородних студентов, оторванных от отцов и матерей. Оторванные и уже успевшие открыть для себя множество разного рода преимуществ самостоятельной ленинградской жизни горестно подпирались ладошками и охотно вступали в разговоры, давая новую пищу ее сочувственным сетованиям. Отдав посторонней болтовне большую половину пары, Катерина Ивановна суетливо всплескивала руками и просила прочитать новую тему самостоятельно, а то «не знаю, как-то нехорошо получилось...» Под шумные обещания, прерываемые долгожданным звонком, Катерина Ивановна складывала тетрадку, одергивала оренбургский платок-сеточку, согревавший ее плечи в любое время года, и торопилась к выходу, рассчитывая продолжить приятный разговор в компании кафедральной секретарши за чашкой чая.

Подлинной напастью, не сравнимой ни с одним из предметов, была «Политическая экономия капитализма», которую читала Мария Ильинична Сухих. Между собой студенты называли ее старой большевичкой. Облаченная в строгий костюм (Маше вспоминалось слово *шевиотовый*), облегающий жесткий стан, Сухих выходила на кафедру с такой сосредото-

точенной решимостью, словно вступала в последний и решительный бой. Никто на свете и отдаленно не мог сравниться с основоположником марксизма, которому она служила истово, как рыцарь прекрасной даме. Палитра ее чувств была истощающе полной: от живой и подлинной страсти до незаживающей скорби по безвременно ушедшему, чьи сочинения полагалось конспектировать не за страх, а за совесть, перенося в тетрадь целыми периодами. Проверая студенческие конспекты, Мария Ильинична перечитывала их, словно вдова любовные письма мужа, вылившиеся из-под его пера на взлете молодых чувств. Терзаясь тем, что конспекты не отражают всей полноты первоисточника, она сокрушалась над каждой лакуной: «Вот здесь, ах, как жаль, вы пропустили замечательное место...» – и, заводя глаза, цитировала по памяти, и щеки ее разгорались нежным румянцем.

Не переставая удивляться, Маша замечала и признаки неумелого кокетства. Упомянув какого-нибудь видного экономиста, к примеру, Чернышевского, Мария Ильинична бросала взгляд на толстый том Маркса, который всегда носила с собой. Создавалось впечатление, что, перечисляя научные достижения его предшественников («Смиту удалось понять... Рикардо сумел доказать...»), Сухих делала это с одной-единственной целью: вызвать вспышку ревности избранника и этим самым освежить взаимные чувства. Впрочем, для женских игр ей не хватало жестокосердия. «Но только величие ума Карла Маркса...» – и ее *единственный*,

на чью долю выпало несколько неприятных мгновений, постепенно успокаивался – приходил в себя.

Однажды, не сдержавшись, Маша все-таки фыркнула, и романтическая политэкономша поймала ее с поличным. Душа Марии Ильиничны не знала полутонов. С истовостью, передававшейся ей, надо полагать, от *черных передельцев*, Сухих возненавидела непочтительную студентку. Аккуратно занеся в свой синодик имя и фамилию, она пригрозила встречей на экзамене. Месяца через полтора до Маши дошли слухи. Сухих громогласно обещала своим кафедральным сослуживцам: эта девица *ее предмета* не сдаст.

К этим угрозам Маша не относилась серьезно, полагаясь на свою тренированную память – если понадобится, она сумеет выучить политэкономические конспекты. От корки до корки, наизусть.

Первое время позванивали одноклассницы, *поступившие* кто в этом году, кто в прошлом, но то ли Маша разговаривала суховато, то ли их самих увлекла новая студенческая жизнь, только телефон звонил все реже, и даже вечер встречи, который пришелся на середину октября, не вызвал интереса. О вечере сообщила Женька Перепелкина, с которой они дружили в старших классах. Женька поступила сразу. На филологический. В университет.

Услышав вялую отговорку, бывшая подруга протянула: «Ну-у, конечно, как хочешь, но все собираются...» Стараясь

не выдать раздражения, Маша обещала, зная, что не пойдет. Многие из тех, кто собирался на этот вечер, сумели стать *университетскими*. Конечно, их нельзя было ни в чем винить, но досада, которой Маша, стараясь забыть о прошлом, уже стыдилась, камнем лежала на сердце. Тем большее утешение она находила в новой дружбе, в которой не было и не могло быть никакой досадной подоплеки. С Валею Агалатовой они сошлись не особенно близко, но Маша уже чувствовала: еще немного, и эта девочка, с которой, говоря по правде, у них было совсем не много общего, займет часть ее души.

На переменах они ходили в столовую, болтали о текущих делах, смеялись, делились свежими впечатлениями.

Вступительные экзамены остались в прошлом, и, если не считать *эсэсовца* – которого Маша считала своей досадной проговоркой, – ни единым словом она не обмолвилась о том, что еще совсем недавно было ее смертной мукой.

Машины рассказы о студенческой жизни радовали родителей. Выбор, сделанный дочерью, родители сочли удачным.

2

По вечерам, собираясь за общим столом, девочки болтали о *тряпках*. Валя слушала и удивлялась: здесь, в Ленинграде, одежду полагалось покупать у спекулянтов. На галерее Гостиного двора.

«А что делать? Хочешь быть красивой – голодай, – вертись перед зеркалом, Наташка демонстрировала джинсовое платье. Восхищенно ахая, девочки заводили глаза. – Нравится? Вот и напиши матери, – поймав Валин взгляд, Наташка предложила весело, – пусть раскошелится. Всем посылают, и тебе придет».

В письмах девочки жаловались на дороговизну городской жизни, писали про *атомные* цены. Родители откликались денежными переводами: кому больше, кому меньше. Вале, отрывая от скромной зарплаты, мама, конечно, посылала. Но с этими ценами ее помощь никак не могла сравниться. Ради платья, в котором красовалась Наташка, Вале пришлось бы совсем отказаться от еды.

Расточительности Валя не одобряла, но с девочками не спорила. Мама всегда говорила: «Люди разные. Если не нравится, никого осуждать не стоит. Найди другой пример».

Раскладывая на спинке стула черную вязаную кофточку, Валя вспоминала материнские напутствия и не чувствовала себя ущемленной. Ленинградская девочка, с которой она подружилась, тоже не думала о тряпках. В институт Маша-Мария ходила в клетчатой юбке и аккуратном шерстяном свитере. Темном, под горло.

Общежитие Финансово-экономического института располагалось у метро «Чернышевская» – огромное, в шесть этажей. От пролетов, начинавшихся от самой лестницы, рас-

ходились длинные коридоры. Комнаты тоже были большие, в каждой по восемь-десять человек. Добиваясь иллюзорного уединения, их разгородили на мелкие клетушки. В дело шли старые шкафы, разошедшиеся книжные полки, куски фанеры и даже простыни, так что комната представляла собой замысловатый лабиринт. В каждом углу, похожем на пещерку жука-ручейника, можно было обнаружить его обитателя, занятого своим делом. Кто-то кипятил и заваривал чай, кто-то переписывал с чужого конспекта пропущенную лекцию, кто-то прихорашивался, придирчиво заглядывая в зеркальце.

В письмах к маме Валя рассказывала о своей жизни. Жаловалась, что трудно привыкать. Мама старалась ее утешить, писала: «Ничего, не на всю жизнь. Когда-нибудь и у тебя будет своя собственная квартира».

В свое время мама тоже нажилась в общежитии, пока не вышла замуж. Тогда им с отцом предоставили двухкомнатную. Об этом мама любила рассказывать – вспоминать счастливое время. Потом, когда отец бросил ее с ребенком, квартира осталась, а счастье ушло. Но мама все равно не жаловалась. Говорила: «Каждому – своя судьба. Надо ценить то, что было. И не роптать на то, что есть».

Валя и не роптала. Просто сидела в своей клетушке и делала домашние задания, стараясь не особенно прислушиваться.

По вечерам общежитие ходило ходуном.

В письмах мама спрашивала и про мальчиков, и Валя отвечала, что на их факультете мальчиков совсем немного, не то что на *промышленном*. Но этой темы старалась избегать.

К ним в комнату мальчики приходили часто. Первое время все ограничивалось болтовней и общими застольями: девочки готовили закуску, ребята приносили вино. Вале тоже приглашали. Выходя из своего закутка, она подсаживалась к общему столу. К исходу осени сложились постоянные парочки. Теперь Валя чувствовала себя неприкаянно, ежилась, отводила глаза. Парочки обнимались и вообще вели себя бесстыдно. Сколько раз Вале хотелось встать и уйти.

Однажды, улучив момент, когда в комнате никого не было, миловидная Наташка заглянула к ней в закуток.

«Я – чего?.. Ну, хочешь, познакомлю? Нормальный парень, из Сызрани. А то – одна да одна».

Валя вспыхнула, но, вспомнив маму, испугалась: «Нет-нет. Что ты... Я сама».

Наташка пожала плечами: «Ну смотри...» – и фыркнула презрительно.

С этого дня Валя больше не выходила, отсиживалась в своем уголке. Похоже, ее отсутствия никто не заметил. Попирав, парочки расползались по закуткам.

Затыкая ухо подушкой, Валя страдала, пытаясь заснуть, но стоны и вздохи, стоявшие в тупичках лабиринта, не давали покоя. Утром по комнате бродили лохматые парни, позевывали и почесывались, пили воду из чайника. Но главная

мука начиналась потом. Не стесняясь Вали, словно она была предметом неодушевленным, девочки делились друг с другом своими ночными впечатлениями.

Однажды, когда, напившись чаю, Валя по обыкновению поднялась из-за стола, девочки смолкли и проводили ее глазами. Она чувствовала их неприязненные взгляды – сутулой спиной. Затаившись за загородкой, Валя прислушивалась испуганно – фанера пропускала хихиканье и придушенный шепот. На другой день, когда она попыталась подсесть к чайному столу, Наташка решительно встала и, соорудив презрительную гримаску, задвинула стул. За ней поднялись остальные.

Сутулясь и поминутно поправляя очки, Валя пила чай мелкими невкусными глотками. Из щелей выползали слова. Ползли, поводя тараканьими усами, и Валя, не смея шевельнуться, чувствовала, как все внутри покрывается их липкими следами. Отшипев, девочки вышли наружу и расселись вокруг стола. Как ни в чем ни бывало они принялись разливать чай и обсуждать варенье из райских яблочек, которое Верочке прислали в новогодней посылке.

Дрожа какой-то невидимой дрожью, о существовании которой до сих пор не подозревала, Валя сидела под кругом общего света. Стекла очков запотевали солоноватой влагой, как будто на них дышали, но забывали протереть. Стараясь не замечать расплывшихся лиц, Валя боялась выдать себя неловким движением. Что-то висело в воздухе, давило на

плечи, сводило позвонки. Крысиная мысль – бежать! – билась, не находя выхода, но, совладав с собой, Валя встала бочком и уползла.

Ближе к ночи явились мальчики. Сквозь фанерную загородку доносились смех и звон посуды. Валя расслышала свое имя и зажмурила глаза.

Огонь еще не погасили. Стараясь не прислушиваться к отвратительным стонам, она стянула с себя кофту. Локоть светился насквозь. Обмирая, как от нового позора, Валя сунулась под матрас и, нащупав тряпичный узелок, в котором прятала деньги, принялась считать. Мамин перевод – двадцать шесть рублей восемьдесят копеек – пришел неделю назад. На эти деньги, добавив к ним сорок рублей стипендии, надо было дожить до марта.

Утром, дождавшись тишины, она натянула ветхую кофточку, решительно спрятала деньги в лифчик и, доехав до Гостиного, отправилась искать галерею. Девочки говорили: на втором этаже.

Обойдя универмаг по периметру, Валя ничего не обнаружила. На галерее никто не торговал. Вдоль решетки слонялись люди, как будто пришли сюда на прогулку. Время от времени они сбивались в кучки. Валя набралась смелости и подошла.

«Чистый хлопок, милые, дочери брала, не подошло по размеру, – чернявая женщина, похожая на цыганку, твердила странные слова. – Халатик, чистый хлопок...» – сквозь дыр-

ку в прозрачном целлофане пробивалась небесно-голубая ткань. *Это* не могло быть халатом: халаты, которые Валя знала, были другие – фланелевые, в разводах и цветах.

Две девушки, проходившие мимо, остановились: «Сколько?» – «Всего-то сто двадцать... Дешево, дешево... Как сама брала...»

Девушки покачали головами и отошли. Взглянув на Валю безо всякого интереса, чернявая женщина задернула молнию, как будто захлопнула окошко в рай.

Вернувшись домой, Валя укрылась за своей загородкой и внимательно пересчитала накопления, как будто денежная сумма, узнав, на *что* она будет потрачена, должна была вырасти сама собой. Рубли лежали понуро. Валя попыталась себе представить: вот она выходит и, запахнув небесно-голубые полы, отправляется в душ. Девочки смолкают, сидят, не веря своим глазам, а она плывет как небесное облако, не касаясь зашарканного пола...

Кто-то вошел в комнату. Валя вздрогнула и сунула узелок под матрас.

– Ну, и где наша сраная дева Мария? – Наташкин голос добавил еще одно грубое слово. – У себя, что ли? Сидит, как хорек.

Верочка засмеялась угодливо.

– Ла-адно тебе, – Оля Свиркина попыталась вступить.

– Что – нет, что ли? Хорек и есть, – Наташкин голос не унимался. – И воняет, как от хорька. Вся из себя, ни дать ни

взять – пионерка, а как пойти да помыть подмышки... Это – не-ет.

Испуганно задрав руку, Валя принялась. Кофта, расходящаяся на локте, пахла по€том.

Ночью, дождавшись, пока все наконец затихнут, она сняла проклятую кофточку, накинула фланелевый халат, который мама, собирая ее в дорогу, купила в ульяновском универмаге, и, ступая на цыпочках, пробралась в душевую. Запершись в холодной кабине, Валя глотала слезы и мусолила застиранные подмышки – под ледяной струей.

На следующий день выдали стипендию. На перемене она одолела робость и, подойдя к Маше-Марии, попросила сходить с ней вместе на галерею, потому что кофточка, в которой она приехала, совсем расплзается в локтях.

Чернявой тетки на галерее не было. Взад-вперед бродили какие-то подозрительные типы – не то покупатели, не то продавцы.

– Кофточку. Ищу какую-нибудь кофточку, – Валя сказала громко, как будто подумала вслух.

– Есть, девочки, есть, милые, – шурша оберткой, крашеная бабенка рылась в огромной сумке. – Мягонький. Югославия. Чудо!

Валя посмотрела и обмерла. На нежном голубом поле лежали темные розы. Веточки, вышитые золотой гладью, прорастали из боковых швов. Бархатные головки сходились под

узким вырезом – как два влюбленных голубка.

– Шестьдесят пять, девочки, шестьдесят пять. Дочери не подошла...

Услыхав цену, Валя сникла.

– Может, тебе? – обернувшись к подруге, она предложила от всего сердца. – Красота-то какая! У тебя же черненький – один...

– Нет, – Маша-Мария коснулась открытого ворота, – джемпер мне не подходит. А тебе – обязательно.

Денег хватало в обрез. Одна она никогда бы не решилась. Но теперь, подчиняясь решению новой подруги, Валя кивнула и полезла в лифчик.

В общежитие она вернулась поздно, часам к девяти. Под пальто таился мягкий комочек. Завернув в холодную душевую, Валя сняла с себя кофту и осторожно, стараясь не растянуть ворот, надела на себя новый джемперок. В грязноватом зеркале отразились темные розы. Оглядев себя чужими глазами, Валя ободрилась и приняла решение: сегодня же подойдет к Наташке и попросит *познакомить*...

Дверь в комнату была заперта. Боясь расплакаться, Валя дергала ручку. Если бы они только увидели... За створками стояла тишина. Детская мысль – пожаловаться – стонала в Валином сердце. Но она понимала твердо: жаловаться – позор. Мама всегда говорила: сама разбирайся.

Валя ходила по коридору, не решаясь постучать. Девоч-

ки занимались своими делами, сновали между комнатами и кухней. Уже зная, что ей не откроют, Валя вернулась в душевую и села на холодный подоконник: придется спать на полу. Она попыталась представить, как, расстелив пальто, ложится в холодный угол. А утром они придут и будут смеяться...

Глотая слезы, Валя сбегала вниз по лестнице и набрала телефонный номер.

– Остановка «ДК Связи». Садись на двадцать второй, помнишь? – голос Маши-Марии перебил, не дослушав. – Я выйду и встречу. Ты поняла меня? Через полчаса.

3

Тихим, потерянным голосом Валя рассказывала обо всем, что ей пришлось пережить: о хохоте за спиной, о том, что они заперли двери, о холодной душевой, в которой не решилась провести ночь.

Маша-Мария слушала, не перебивая.

– Вот это... Сегодня... Ты для них покупала?

Валя кивнула и всхлипнула.

– Выход один, – подруга говорила решительно. – Не обращать внимания. Самим надоест – отвяжутся рано или поздно.

– Но я... – Валя не решалась рассказать.

– Черт с ним, с их чайником. Возьмешь кипятильник, – Маша-Мария рылась в ящике кухонного стола. – Где-то есть,

потом поищу.

– Я... – Валя шевельнулась. – Дело не в чае. Я мешаю им *по-другому*...

Конечно, Валя не говорила прямо, но Маша поняла.

– В комнате?! – этого она не могла себе представить: как они расходятся по углам. А потом всю ночь... – В общем, так, – Маша приняла решение. – Сегодня ночуешь у меня. Завтра поговорим, обсудим на свежую голову. Обдумаем и решим. Обязательно, – фыркнув гадливо, она дернула плечами. – К *этому* надо отнестись как к технической задаче. Сиди, я сейчас.

Родители отнеслись с пониманием: контрольная по математике – дело серьезное. Конечно, надо выспаться. Студенты – народ веселый, дым коромыслом, гуляют ночь напролет.

– Ну, устраивайся. Только тихо. А то Татка проснется, – постелив на диванчике, Маша-Мария ушла.

Оставшись одна, Валя стянула с себя обновку, аккуратно разложила на спинке стула и села на чистую постель. Она сидела, съезжившись, и, вдыхая чужой комнатный запах, думала о том, что все несправедливо. Разве она виновата, что родилась в Ульяновске?

«Если бы жили в Ленинграде... А так – одна-одинешенька. Маша-Мария добрая. Но мама далеко...»

Голос, поднявшийся внутри, говорил: «Ничего не придумать. Это им, ленинградцам, хорошо рассуждать. Живут в

эдаких квартирах...»

Страдая, Валя думала о том, что похожа на бездомную собаку, которую приютили из милости. «Конечно, эти родители тоже добрые. Другие бы не позволили...» Мысль вильнула в сторону и сложилась: *другие*. Евреи, приютившие ее из милости... Не они, государство. Оно само должно позаботиться. В конце концов, Валя приехала сюда учиться и имеет право...

Маленькая девочка, спавшая на диване, шевельнулась во сне.

«Господи, что ж это я?...» – ей стало стыдно и тоскливо. Валя поднялась, пригладила волосы и подошла к окну. На улице стояла ночь. Внизу, у самой дворовой арки, горела слабая лампочка. Темные окна боковых флигелей глядели во двор. Узкий луч света бегал по заиндевелым стеклам, словно кто-то, похожий на призрака, бродил в темноте.

4

По обыкновению, Панька взялась стирать свои тряпки на ночь глядя. Возилась, погромыхая оцинкованным тазом. Звуки, долетавшие из-за двери, походили на раскаты грома. Шум воды довершал сходство с грозой. Дожидаясь, пока освободится ванная, Маша сидела смирно.

«Жертва, жерло, жернов», – бормотала, как будто искала в словаре.

Стараясь унять тревогу, она думала о том, что подруга стала жертвой несправедливости. Несправедливость – техническая проблема. Это Маша знала по себе. Они обе стали жертвами. Конечно, разных обстоятельств...

Лампочка, горевшая под потолком, мигнула и погасла. В темноте *что-то* подступало: голые тела на черной земле...

«Конечно, несправедливость... – Маша силилась уговорить себя: вот они раздеваются, расходятся по углам. Голые развратные твари... – Гадость. Какая гадость! – она встала и прополоскала рот. В сумраке, окутавшем сознание, белела дорога. Мимо калиток, замкнутых железными крючками, двигались люди, шли, не оглядываясь на слепые дома. Нежная пыль, поднятая башмаками, поднималась, стояла в воздухе. – Разве можно сравнивать? Какое отношение *эти* могут иметь к *тем*?...»

Тех заставили раздеться. Чтобы сжечь и развеять пепел... Дверь открылась. В кухню вошел отец.

– Ну, сидишь, как в почетном карауле?

Вода, бившая струями, наконец стихла. Панька вышла из ванной, вытирая руки о фартук. Глянула исподлобья: «Всё я. Иди».

– Ну, что там у вас случилось?

– Ее не пускают в комнату. И вообще издеваются, – Маша ответила уклончиво, не вдаваясь в детали. Не рассказывать же про *этих голых*.

– Как не пускают? – отец моргнул испуганно. – Надо пой-

ти, не знаю, к коменданту, пусть найдет на них управу. На хулиганов. Ты, Мария, девочка умная, должна помочь. Проследить.

«*Военная машина*, – Маша думала. – Машина с паучьим знаком. Голые тела на черной земле. Для паука они были сухими шкурками... Умная девочка», – она повторила отцовские слова и усмехнулась про себя.

Отец подошел к плите и поставил чайник. Маша смотрела на его руки.

– Я хочу спросить. – Он обернулся. – Ты знаешь, как погиб твой отец?

– В Мозыре. Фашисты вошли в город, – он ответил и отвернулся к окну. – Вообще-то не город, так, большая деревня.

– Это я знаю. Ты рассказывал. Я хочу знать – *как*?

– Да что тут знать... – он говорил тихо. – Евреи.

– Это не ответ. Евреи гибли по-разному. Например, их сжигали. А пепел сбрасывали в реки. Его тоже... сожгли?

Отец молчал.

– Послушай, – Маша встала и прошлась по кухне. – Он – мой дед, я имею право...

Маша не успела закончить, потому что увидела его лицо. Нет, она не могла ошибиться: *так* он морщился всегда, когда ему было стыдно.

– Ты... стыдишься его смерти?!

Глаза отца стали тусклыми. Он отвел взгляд и коснулся

лба. Пальцы, скользя вниз, пробежали по лацканам пиджака и скрылись в пустом кармане. Как у профессора математики, стоявшего у доски. Броть Михаил Исаакович, чем-то похожий на брата Гену. Нет, она подумала, не на брата. На моего отца.

– Мать успела уйти, потому что *догадалась*. На ее руках были внуки, Сонины дети. Соня отправила на лето из Ленинграда. Я всегда боялся, когда ты уезжала в лагерь, и теперь боюсь, за Таточку... Она и отцу предлагала, просила, но он не хотел бросать мельницу, боялся, что без него сожгут...

– Немцы? – она перебила.

– Не знаю, – отец снова сморщился и покачал головой. – Какая разница! Немцы. Не немцы. Может, и не немцы...

– И что? Сожгли?

– Нет. Не знаю. А потом всех собрали и вывели за город...

Пальцы побежали обратно: по лацкану, до самого лба... Отцовские глаза смотрели куда-то вглубь, как будто жили отдельно от тела. Как будто тоже видели *это*: калитки, пустая улица, слепые дома.

Те, кого он помнил всегда, шли с пустыми руками. Их никто не обманывал: сказали, ведут на смерть. Маша смотрела и видела их руки: пальцы, бегущие по лацканам пиджаков. Их пальцы надеялись укрыться в пустых карманах, вздрагивали, шевелясь на ходу. Пыль, поднятая тяжелыми башмаками, оседала на коже. Темные фигуры колыхались в белом мареве, становясь мнимыми математическими величинами...

Математики, инженеры... Технари – замкнутый орден, существующий на особых правах. Когда-то давно они все прошли той деревенской дорогой. Те, кто сгинули. И те, кто спаслись...

– Его расстреляли?

– Нет. Его – нет, – отец ответил спокойно, как будто говорил о чужом.

– Как это? – она спросила растерянно.

– Всех привели к оврагу. Приказали раздеться догола. Отец отказался. Сказал, что не станет. Евреям нельзя открывать наготу. Тогда они приказали вырыть яму. Зарыли в землю – живым, – отцовский голос дрогнул. Как пальцы, бегущие по обшлагам.

– Но если... – Маша съежилась. – Откуда ты знаешь? Они же погибли. Все.

– Не все, – он совладал с дрогнувшим голосом. – Одна девочка спаслась. После войны рассказала Соне. Все стали раздеваться, а он – нет. Она видела, как зарыли и затоптали. Отец не кричал. Но она видела, как над ним шевелилась земля...

– Папа! – Отец обернулся от двери. – Я понимаю: Гитлер, фашисты. Но почему *наши*? – Маша мотнула головой и поправила себя: – *Здесь, у нас?*

Отец молчал.

– Вот только не надо, – она наступала яростно, – что ничего этого нет и не было. Уж я-то знаю. Или, может, тебе

рассказать? Про университет.

Стыд и растерянность метнулись в отцовских глазах, словно выросшая дочь догадалась о позорной наследственной болезни, которую ему удавалось скрывать до поры.

– Ты хочешь спросить, почему в нашей стране к евреям относятся особо? Не знаю.

Его незащитность была в самое сердце.

– Ладно, – Маша справилась с жалостью, – по крайней мере, когда? Когда *оно* началось?

– До войны вроде не было, – он всматривался в свое довоенное прошлое. – Нет. Может быть, где-то... Но тогда я об этом не думал. Мы дружили втроем: я, Алексей и Иван.

Отец приводил довод, который казался ему убедительным. Ссылался на старую дружбу: русские и еврей. Их дружба прошла испытание временем. До сих пор дружили семьями, вместе отмечали праздники. Последний раз собирались у дяди Леши – в деревянном доме недалеко от Волкова кладбища. Дядя Ваня жил у Петропавловки. Маша вспомнила: красный гранат. Диковинное лакомство – когда-то давно она попробовала его у дяди Вани. Мама говорила: дядя Ваня живет в генеральском доме. Кислые зерна. Сок, похожий на кровь...

– А потом война... – отец вспоминал.

Маша шевельнулась нетерпеливо. Эти рассказы она уже слышала: сперва он служил в пехоте, потом – танкистом, под Москвой.

– Это началось после войны, – розоватая волна прошла по его лицу. – Дело врачей. Весь этот бред в газетах. Потом... Сталин готовился выслать евреев. Всех. Ходили слухи: под Ленинградом уже стоят эшелоны. Не успел – *сдох*. – Пошарив на полке, отец достал сигарету. – Я помню. Это случилось в начале марта, я шел на работу, на углу Невского и Гоголя – толпа. Стояли и слушали репродуктор, ловили каждое слово: давление, сахар, моча... А потом вдруг – как гром среди ясного неба: скончался. Нет, – он сморщился и покачал головой, – *этого* тебе все равно не представить. Бог. Понимаешь, великий и бессмертный. Все умирали. Миллионами. Но только не он. Он должен был жить. А тут... Я шел по Невскому, шел и прятал глаза. Боялся, что кто-то увидит. Почему? Понимаешь, они все плакали. Этого я не мог понять, – даже теперь он улыбался испуганно. – Свернул на Литейный. Знаешь, – он говорил шепотом, – мне хотелось плясать. Нет, не мне. Не я – мои ноги. Я говорил – не смей, а они все равно... Его смерть была чудом...

– Значит, – Маша перебила, – после войны?..

Отец распахнул форточку и зажег сигарету.

– Значит, после? – она спрашивала как экзаменатор. Ставила дополнительный вопрос. Похоже, у него не было ответа. – Интересно у тебя получается: до войны – не было, в войну – не было... А потом откуда-то взялось.

– Не знаю, – он прикрыл кухонную дверь. Мама не выносила табачного дыма. – Может быть, пережитки прошлого...

Прежде, до революции... – Двойка, выведенная рукой дочери, грозила испортить матрикул. – Нет, что-то все-таки было, иначе я бы не думал *об этом* на фронте.

Тягучий дым уходил в открытую форточку. Дочь молчала и ждала.

– Я ушел в двадцать семь. Говорят, молодым легче, маршброски... физическая тяжесть... но это неправда. Молодые гибнут быстрее. Не знаю, как объяснить. Может, дело в реакции: у двадцатилетних она другая. Когда поднимают в атаку, *всегда* есть две-три секунды, примериться. Молодые встают сразу. Нет, не об этом, – он сбился и начал заново. – В сорок втором мне предложили перейти в инженерные войска. Но я отказался, сказал, что хочу в танковые.

– Почему? Инженерные – по твоей специальности.

– В инженерных воевать безопаснее. Все знали – танки горят, как свечи, – он усмехнулся. – На поле боя танк – мишень. Могли подумать, что я трусил. Потому что, – отец притушил сигарету, – потому что – еврей. И в атаку. В атаку я всегда подымался сразу. Странно, что не убило. Единственное ранение за всю войну. Причем, понимаешь, какое-то дурацкое. В сорок третьем. Нас везли в эшелоне, я стоял, курил у форточки. Пуля попала в щеку, прошла навывлет. Понимаешь – навывлет. Кровь, боль. А я ликовал. Сестричка перевязывала, а я... Знаешь, о чем я думал? Вот теперь *никто и никогда* не скажет... – он отвернулся и замолчал.

Маша слушала и не понимала. То, что он говорил, не укла-

дывалось в голове.

– Ты хочешь сказать... радовался, потому что искупил... кровью? Как в штрафбате? Ты... считал себя преступником?

Кисти рук шевельнулись и дрогнули.

– Но если так... – Маша прищурилась. – Значит, *это* было и до войны.

– Значит, было, – он сунул окурок в помойное ведро.

Стараясь ступать неслышно, Маша прошла родительскую комнату и легла. «Валя. Общежитие. Надо что-то делать...» – мысль мелькнула и погасла.

Над низкими крышами поднимались крылья, вращавшие жернова. Там, у оврага, зыбился клочок земли. Могила деда, похожая на огородную грядку. Грядка ходила волнами, вскипала из глубины. Сердце стукнуло и упало под ребра. «Другое. Это *совсем* другое».

Клин, подходящий к Валиной *лопасти*, вырастал из другого ствола.

Хватая губами воздух, она поднялась на локте. Во рту было кисло. Как от граната: сок, похожий на кровь.

Борясь с подступающей тошнотой, Маша сплюнула в ладонку. «Счастливое ранение... – она думала о том, что презирает отца. – Искупил свою вину. За то, что родился евреем».

После войны работал, дослужился до главного инженера. Потому что... Он сам признался: железная пчела, прошив-

шая щеку, защитила его от паука...

Одеяло налилось свинцовой тяжестью.

«Кровь – искупление? Но тогда...»

Дед, задохнувшийся в бескровной могиле. Его кровь осталась непролитой. Значит, он отказался от искупления: еврей, не пожелавший открыть наготы.

«Жертва, жерло, жернов...»

Тревога подходила крадучись. Маша откинула одеяло. На улице стояла мгла. Лампочка, горевшая под аркой, бросала слабые отсветы. Темные соседские окна глядели во двор.

Где-то там, за оврагом, поднимались мельничные крылья. Стояли в небе косыми перекрестьями. Ходили над дедовой могилой, в которой шевелилась его душа. Если бы он разделся, его прошили бы пулями. Уж это они умели – прошивать еврейские тела.

Совиные веки. Кисти рук, отведенные от бедер. Узкие вздернутые плечи.

«Это – не я. Зачем мне это? Это – не моя кровь».

Чужая девочка, спавшая на ее диване, ворохнулась и вскрикнула во сне.

Прижимаясь лбом к холодному стеклу, Маша думала о том, что все осталось в прошлом: дед, зарытый заживо, кровь, которую забросали землей. Эта земля больше не шевелится, давно превратилась в камень.

Ступая на цыпочках, Маша подошла к зеркалу: «Я похожа на маму». Прошептала и посмотрела себе в глаза. Глаза бы-

ли темные, отцовские. Дед принес бескровную жертву. Она подумала – безысходную. Мельничные крылья стояли высоким крестом. Там, в глубине, куда Машин взгляд не мог дотянуться, между крестом и бескровной могилой существовала какая-то связь...

Она подошла к своему столу и выдвинула ящик. В глубине, под тетрадами, лежал библиотечный пропуск: твердая книжица величиной с пол-ладони. Нашупав, она достала и поднесла к глазам. Выпуклые золотые буквы дрожали под бликами уличного света. Коленкорový складень казался черным. Маша раскрыла и подошла к окну.

«Аусвайс. Мало ли, еще пригодится».

Усмешка, похожая на прыщ, вспухла на Машиных губах.

Глава 3

1

В дверь застучали ранним утром. Сквозь сон Маша услышала тревожные голоса. Кто-то скулил в родительской комнате. Она поднялась и приоткрыла на ладонь.

Посреди комнаты, в накинutom поverх рубашки халате, плакала простоволосая Панька. Мама стояла рядом, держа в руке полный стакан. Панькины щеки ходили ходуном, словно кто-то невидимый просунул в нее пальцы, надел ее лицо на руку, как морщинистую игрушку.

– Мама, что?

Расплескивая воду, мама махнула рукой:

– Уйди...

Панькины глаза слипались мокрыми щелками.

В дальнем углу комнаты отец, морщась от Панькиного воя, застегивал брюки. «Умерла», – заметив дочь, объяснил одними губами, и Маша наконец поняла.

Вложив стакан в Панькину руку, мама придерживала донышко. Жалкая морщинистая маска отхлебывала, цепляясь губами за ребристый край.

– Ну, ну... Не надо. Не надо, хорошо пожила. Всем бы так, – мамины губы бормотали что-то несусветное.

Стоя под дверью, Маша слушала холодным сердцем, силясь понять – почему? Ни разу не заступившись за отца, мама жалеет и заступает за Паньку. Утешает, подносит воду.

– Что? Что? – склоняясь к Панькиным губам, мама силилась разобрать.

– Успела, все успела, как люди... Сделала... И привела, и заплатила...

– Правда, правда, – мама кивала, подтверждая каждое слово.

Больше не легли. Отец вызывал скорую – засвидетельствовать факт смерти. Мама ушла в соседскую комнату.

Дожидаюсь, пока закипит чайник, Маша сидела на кухне и смотрела на Панькин стол. Старый крашеный стол занимал целый простенок. Панька ворчала: не стол, одно название. Этот стол остался от немцев. Ящики, разохшиеся от времени, плохо входили в пазы. Сколько раз, пытаясь выдвинуть, Панька тягала их за ручки: «Сволочи!» – шипела и грозилась вынести на помойку.

В мирные времена мама тоже советовала ей купить что-нибудь поменьше. Своими габаритами он не годился для коммунальной кухни – загораживал единственное окно. Соседка поджимала губы: на новый денег нету, дескать, разбогатеет, как некоторые, тогда и вынесем, тем более хороший, добротный, если бы *эти* не рвали ручки, а пользовались по-человечески... словно прежние жильцы успели испортить

то, что ей досталось по праву.

Брезгливо оглядывая столешницу, заставленную грязной посудой, Маша думала: «Вот. Разбогатели. А нечего было присваивать чужое».

Стол, выкрашенный белой краской, дождался своего часа – пережил Фроську.

В прихожей раздался звонок.

Мимо кухни прошли тяжелые голоса и замерли в соседской комнате. Кто-то ходил за стенкой, двигая стульями. Потом Панька взвыла, как оглашенная. Душная волна поднялась к горлу, и Маша поняла – выносят. Белый угол носилок мелькнул в дверном проеме: что-то узкое, спеленатое, как мумия, тронулось в путь, не касаясь земли.

Мама вышла на кухню:

– Вскипел? – она привернула газовый кран. – Плохо с сердцем.

– Тебе? – Маша откликнулась, но мама покачала головой и достала пузырек.

– Не понимаю, – Маша произнесла холодно.

– Прасковье Матвеевне плохо, врач сказал – накапать сердечное, – шевеля губами, мама считала капли.

Отец вошел в кухню, и Маша осеклась.

– Вы уж тут сами завтракайте, – мама обращалась к отцу.

– Конечно, конечно, – он закивал.

Лица родителей были строгими, словно смерть, прибрав-

шая соседку, наполняла квартиру важной торжественностью, не имевшей отношения к обыденной коммунальной жизни.

Отец стоял над плитой. Неумело разбивая яйца о край сковородки, жарил яичницу. Желтки, так и не ставшие цыплятами, шкварчали в растопленном масле.

– Не понимаю. Вы бы еще в санаторий. Здоровье поправить, чтобы пожила подольше.

– Что ты?.. – отец обернулся беззащитно.

– Правильно! Пусть поживет. Мало вам, что она всех нас – *жидами*, а вы ей – капелек сердечных!

– Мария, прекрати! Мать, у нее умерла мать... Надо иметь сострадание. – Яичница-глазунья пенилась белым крошевом. – Глазки€ разбивать?

– Пусти, я сама, – вынув из неумелой руки, Маша взяла нож.

Потоптавшись, отец пошел к двери.

Она оглянулась, прислушиваясь. В коридоре не было ни души. Далекий Таткин голос доносился из родительской комнаты.

Стараясь не наделать шума, Маша шагнула к *немецкому* столу.

Немцев выслали в начале войны. Евреев должны были после. Отец говорил: под Ленинградом уже стояли эшелоны.

Отставив пакет картошки, она села на корточки, зажимая нож в кулаке. Туповатое лезвие скользнуло по краске. Краска

не поддалась.

Татка, теряя шлепанцы, бежала в ванную. На ходу, не заглядывая на кухню, пискнула: «Привет».

Маша влезла на табуретку. Задняя, невыкрашенная стенка темнела нетронутой древесиной. Она примерилась и царапнула: лезвие оставило глубокий след. Отложив нож, Маша провела рукой, ощупывая зарубку.

Так делали военные летчики: сбив вражеский самолет, рисовали звезду на крыле.

Вечером Панька явилась в родительскую комнату: обсуждали детали похорон. Сидя на краешке стула, Панька кивала на каждое слово. Отец обо всем договорился. Институт выделил автобус – везти гроб. В церковь Панька опасалась. Услышав краем уха, Маша усмехнулась про себя.

Похоронная контора предложила выбор: Южное или крематорий. Еще вариант – на Красненьком, вроде бы там был похоронен кто-то из Панькиных дальних родственников, но требовались документы на могилу. Документов у Паньки не было. «Когда-то ездили, обихаживали, двоюродный племянник...» – она оправдывалась, всхлипывая.

Маша ушла к себе и прикрыла дверь.

– Может, все-таки крематорий, – мама заговорила робко, и отец поддержал:

– Подумайте, Прасковья Матвеевна... На Южное ездить тяжело. Все мы, как говорится, не молодеем.

– В крематории выдают урну. Куда захотите, туда и подхороните, хоть куда, хоть на Красненькое, – мама убеждала настойчиво.

В прихожей раздался звонок.

Иосиф вошел и осведомился деловито:

– Ну как?

Маша пожала плечами:

– Решают, куда везти: на кладбище или в крематорий...

Ты бы что выбрал?

– Я бы, – брат ответил мрачно, – пожалуй, повременил.

Панька не решалась. То поминая Страшный Суд, на который до€лжно являться *в теле*, то жалуясь на больное сердце, она заглядывала в глаза. Родители медлили.

– Вы, Прасковья Матвеевна, недооцениваете наш советский крематорий, – не выдержав, Иосиф вмешался в разговор. – А между тем именно крематорий дает родственникам неоспоримое преимущество. С дорогим усопшим они могут поступить так, как захотят.

– Как это? – Панька испуганно встrepенулась.

– Да так. Урна – ваша собственность. Ее вообще можно не подхоранивать. Хранить хоть у себя, на буфете.

– Как это – хранить? А если проверят? – Панька поджала губы.

– А вы ответите, что отвезли прах на историческую родину, – он усмехнулся, – там и зарыли с миром. Мол, будет ле-

жать до самого Воскресения. Вы ведь, я понимаю, не местные?

– Чего это? – Панька скосилась подозрительно.

– Родились-то не в Ленинграде?

– Волховские мы, в Ленинград на работу приехали, до войны еще, – она ответила с торопливой готовностью.

– Ну вот, все и сходится, – Иосиф улыбнулся, и Панька наконец решилась:

– Ладно, вы умные – вам виднее. Пусть уж крематорий, раз выдают.

– С ума сошел, не хватало еще праха! – Они сидели в Машинной комнате.

Брат поморщился:

– Ну ты-то хоть не глупи. Старуха. Еле живая. Ну хочется ей на Красненькое. Получим урну – съездим и подхороним.

– Без документов?

– Да на кой ляд нам их документы? Выроем ямку... – снова он подходил как к технической задаче.

– Не знаю. Как-то... – Маша поежилась. – Пепел, прямо в квартире...

– Горстка пепла. Все, что остается. И от нас, и от наших коммунальных соседей. Борьба на выживание. Счастлив тот, кто узрит прах своего врага... Как в институте? – брат перевел разговор.

Маша пожала плечами.

– Человек – неблагодарное животное, согласна? – он усмехался. – Кажется, душу готов заложить, а добьется своего, пожимает плечиком, дескать, не очень-то и хотелось...

– Это неправда! – Маша возразила горячо. – Я рада и счастлива, просто...

Он поднял брови:

– Что – просто?

– Я не понимаю. Панька обзывала папу, а они теперь с этой душой возьтятся!

– Обзывала... – Брат не спросил – *как?* – Хоронить-то все равно надо: у них же никого нет, – он продолжал спокойно, словно Панькина брань не имела к нему ни малейшего отношения.

– Лично я, – Маша не собиралась сдаваться, – не могу и не желаю. Сам же сказал: враги!

– Ну какие они враги... И вообще, – брат поморщился, – при чем здесь это: евреи, русские... Ну, какие из них русские? Простые *советские* старухи. С мозгами набекрень. К тому же несчастные. Эта померла, другая одной ногой в могиле, – он смотрел с сожалением. Как учитель на своего ученика, не оправдавшего надежд. – Разве это *уровень!* Запомни: о человеке надо судить по его врагам. Другое дело – *те*, – Иосиф махнул рукой. – Мы придумали, ты не побоялась. Тогда я тобой гордился. А теперь? Выбираешь старух? Нет, – он поднялся. – Бои коммунального значения – не моя стихия. С такими врагами давай уж как-нибудь сама. Без меня.

Иосиф встал.

– Постой, – Маша окликнула. – Я и сама думаю. Если начинать, то не отсюда. Надо провести исследование, историческое, на примере нашей семьи, – она говорила шепотом.

– И что ты надеешься выяснить на этом поучительном примере? – Иосиф спросил настороженно. – Если я правильно понял, ты заранее допускаешь возможность того, что причины кроются в нас самих?

– Нет, – Маша покачала головой, – не знаю... Я имею в виду... – отчего-то ей не хотелось называть Валино имя. – У меня есть подруга... В смысле, сокурсница. Однажды мы разговаривали про историю, и она сказала, что представляет себе огромную площадь, по которой идет эсэсовец. А все народы стоят в шеренгу. Он идет и выбирает, кого на смерть. Помнишь, ты говорил: немцев выслали. И евреев собирались...

– Жаль, – Иосиф протянул задумчиво, – что вы не подруги. Похоже, умная девочка. Должен признаться, в этой безумной идее что-то есть. Впрочем, для таких дел эсэсовский мундир не обязательно. Тут мы и сами с усами... И что – красивая девочка? – Иосиф поинтересовался деловито.

– Тебе-то зачем?

– Не мне, а тебе. Дарю первое наблюдение. Так и запиши в своем исследовании: в нашей семье любят красивых девушек. При этом не замыкаясь на представительницах своей исторической национальности. По крайней мере, лучшие

из наших мужчин. Если науке нужны конкретные имена, изволь: твой отец, да и аз грешный... Я научно излагаю?

– Вполне, – Маша включилась в игру. – Чего никак не скажешь о женщинах. Взять хоть нашу бабушку Фейгу, да и твоя маман...

– Работаем, – брат откликнулся весело, – на этом этапе убеждаем количеством. Рано или поздно надеемся перевести в качество – жены и любимой невестки. А насчет твоей умной сокурсницы – я серьезно.

– Ты ее видел. Валя. Помнишь, это я с ней приходила, – Маша призналась неохотно, и брат погрустнел:

– Боюсь, *здесь* случайный всплеск умственной активности. Хотя могу и ошибаться. По части совсем уж юных девиц я не силен.

За чаем обсуждали Таткины балетные успехи: сестра ходила в хореографический кружок при ДК работников связи. Татка смешно показывала, как пожилая преподавательница, бывшая балерина, демонстрировала упражнения: руками вместо ног. «И раз, и два, *тандю батман*, и раз...» – Таткины пальчики танцевали ловко. «Когда концерт?» – мама прервала танец. «К новогодним каникулам, я – польский», – вскочив с места, Татка прошлась полонезом. Лицо отца лучилось счастливой улыбкой: «А еще какие танцы?» «Венгерский, словацкий еще, потом классический, но это – большая девочка танцует, на полупальцах...» – Тата объяс-

няла охотно.

«Для нашей страны всё – весьма актуально, особенно этот, на полупальцах», – Иосиф и здесь не смолчал.

За балетными делами позабыли про похороны. Про Паньку Маша вспомнила, обнаружив свободную ванную. Она вошла и заперлась на крючок. Здесь стоял тяжелый запах. Белье, выстиранное с вечера, дыбилось на веревках: Панька забыла снять. Простыни, все в застарелых пятнах, стояли колом. Раньше Маша не замечала. То ли Панька полоскала тщательнее, то ли успевала снять, пока все спали, но чиненные-перечиненные тряпки не попадались на глаза.

Родители сидели за столом. Мама писала на клочке бумаги, отец заглядывал под руку.

– Водки... Вас двое: пол-литра хватит. Вина – одну бутылку, некому пить. Оливье я сделаю, колбасы еще, свекольный салатик с орехами... Ну, капуста кислая, картошки наварим, да... еще блинов...

Маша слушала, недоумеая: так, прикидывая спиртное, отец с матерью обычно готовились к праздникам.

Мама подняла голову:

– Поминки Паньке самой не справить.

– Рыбки фаршированной не забудьте, – голос вскипел яростью, – покойнице будет приятно. Кстати, в ванной Фроськины вонючие тряпки. Их кто будет снимать?

– Возьми иними, не барыня. Сложи на табуретку стопоч-

кой, — не отвечая на *фаршированную рыбу*, мама вернулась к подсчетам. Теперь она прикидывала стоимость продуктов. За долгие годы ее глаз пристрелялся:

— Девяносто и два пятьдесят, три шестьдесят две на два, вино крепленое, вроде кагора, по два, вроде бы, девяносто... — она писала цифры аккуратным столбцом.

Стягивая с веревок, Маша боролась с отвращением. Тряпки пахли убогой никчемной старостью. «Все равно — враги», — она сказала громко.

Простыни не желали складываться, топорщились под руками. Борясь с отвращением, она разглаживала ладонями: кончики пальцев, скользившие по складкам, нащупали какую-то неровность. Приблизив к глазам, Маша различила: на желтоватой, застиранной ткани, почти сливаясь с основой, проступала вышивка, похожая на вензель. Нити, положенные ровной гладью, кое-где высыпались, так что вензель казался прерывистым, едва заметным для глаз. Растянув уголок на пальцах, Маша поднесла к свету. Теперь проступили буквы, вышитые гладью. Высокая «R» стояла над маленькой «r». Ее слабая ножка ложилась внахлест, превращаясь в срединный завиток.

Торопливо разворачивая высохшие тряпки, Маша проверяла догадку: водила пальцами по краям простыней — от углов. Догадка не подтверждалась.

Маша села на край ванной. Паучий укус заныл. «Нет, не

так», — она почесала, раздумывая.

Расправив в пальцах, поднесла к свету. В углу, хорошо видные под лампочкой, лучились мелкие игольные уколы — вензельный узор. Буквы стояли друг подле друга: большая обнимала маленькую, защищая бессильной, почти неразличимой рукой.

Расправляя, Маша складывала уголок к уголку. Вышитые немецкие буквы, на которых умерла убогая Фроська, стояли попарно, как на плацу. Большая и маленькая, старшая и младшая. Их тени, светящиеся игольными уколами, обнимали друг друга долгие тридцать лет. Все время, пока служили этой старухе. До ее смерти.

Маша забралась в ванну и приложила ухо к кафельной стенке: в старушечьей комнате стояла тишина. Она вылезла и огляделась. Взгляд наткнулся на отцовскую бритву. Эта бритва называлась опасной. Отец подтачивал ее раз в неделю, накидывая на ручку двери старый кожаный ремень. Маша раскрыла и провела по лезвию — осторожно, кончиком пальца.

Скорчившись на полу, она царапала лезвием — вырезала из простыней немецкие вензеля. Границы срезов выходили неровными. Маша складывала лоскуток к лоскутку. Улики, лежавшие друг на друге, становились похожими на пачку требований, пришедших по МБА. Привычным жестом, как будто снова стала библиотекарем, она взяла их в руку и вскинула запястье. Часы показывали двенадцать.

«Ночь, ночь», – голос был слабым и бессильным, как завиток умершей «R». Скомкав изрезанные тряпки, Маша сушила их за пазуху и спрятала *требования* в карман халата. К входной двери она кралась на цыпочках.

Двор был пустым и страшным. Стараясь не попасть под свет фонаря, она бежала вдоль стены. Тень, идущая следом, проводила до самой арки. Добежав до мусорных баков, Маша вынула комок из-за пазухи и швырнула на дно.

2

Повязав голову глухим черным платком, Панька бродила по квартире. Простыней она так и не хватилась.

«Ясное дело. Недорого досталось», – Маша думала, не удивляясь. О простынях помнили другие руки – тех, кто накладывал стежки. Пачка их требований, надежно припрятанная, лежала в тайничке письменного стола рядом с просроченным библиотечным пропуском.

К середине дня мама наконец собралась. Вместе с Панькой они отправились в похоронную контору на Достоевского. Татка приставала к отцу – сходить в Александровский сад. Приглашали и Машу, но она отказалась.

Странная мысль, мелькнувшая с вечера, не давала покоя. Оставшись в одиночестве, Маша подошла к Панькиной двери и подергала за ручку. Много раз она бывала в соседской комнате, но теперь, получив пачку *требований*, хотела

заглянуть снова, как будто проверить шифр.

Старушечий замок был надежным. Маша припала к личинке, но так ничего и не разобрала.

Мама с Панькой вернулись к вечеру.

К праздникам мама всегда готовилась накануне. Разложив овощи на старой дровяной плите, которую строители, проводившие газ, так и не вынесли, она отбирала ровные картофельные клубни. Панька мыла свеклу.

– Прасковья Матвеевна, – мама оглянулась, – соды добавьте капельку, быстрее разварится.

С соседкой она разговаривала *прежним* голосом, как будто не было никаких скандалов.

Не оборачиваясь от плиты, Панька закивала покорно. Из пучка, собранного на затылке, торчали редкие пегие волоски. Она пригладила мокрыми руками, измазанными свекольной грязью:

– Племянничек ваш... он тоже придет? – Панька спросила почтительно.

– Ося? Да, собирался, – мама покосилась на Машу.

– Хороший человек, на дядю своего уж очень похож, – Панька шмыгнула носом.

– У вас есть сода? – мама думала о свекле, – а то у меня кончилась, забыла купить.

– Там, в буфете, – Панька махнула рукой в сторону комнаты.

– Я могу сходить, – Маша вскочила с готовностью.

– Сама я, – подхватившись, Панька метнулась к двери.

«Мама-то, может, и забыла, а Панька по-омнит... А что, если?..»

Сидя в углу за дровяной плитой, Маша слушала их кухонные разговоры и думала: «Горстка пепла. Борьба за выживание. Он сказал: счастлив тот, кто узрит прах своего врага. Поминки – это для Паньки. Для мамы – праздник. Поэтому она и готовит...»

Маша дернула плечом и ушла.

В крематории назначили на двенадцать. Институтский автобус должен был подъехать к Максимилиановской не позже десяти. До больницы добрались пешком. Институтский водитель приоткрыл дверцу кабины: «Михаил Шендерыч, к воротам подавать?» На Машу он покосился веселым глазом.

Гроб, затянутый красным ситцем, топорщился сиротливыми кистями. В изголовье, под крышкой, лежало Фроськино мертвое лицо. Стараясь об этом не думать, Маша вдруг вспомнила: цветы. Она шепнула матери.

«Ничего, ничего, там, у самого крематория... Бабки должны продавать», – мама зашептала в ответ.

По обеим сторонам дороги лежали поля, пожухлые и полуголые. Вдалеке, из-за кромки леса, поднималась серая труба. Желтоватый дымок струился, уходя в небо, дрожал у самого жерла.

«Жертва, жернов, жерло...» – покосившись на ситцевую крышку, Маша вспомнила свой словарь.

Автобус проехал вдоль ограды, за которой открывался скверик. На клумбах росли жидкие темно-бордовые цветы. Мимо широкой лестницы, ведущей на верхнюю площадку, автобус объехал приземистое здание, стоящее на холме. Минував невзрачные хозяйственные постройки, водитель подкатил к воротам. Два мужика в рабочей одежде подтащили железную телегу и выволокли гроб.

«Надо бы помянуть, как думаешь, а, хозяйка?» – старший обратился к маме. Торопливо порывшись в кошельке, мама протянула рубль. «Кого поминать-то?» – он спрашивал сурово. «Ефросинью, – мама ответила испуганно, – рабу божью Ефросинию». «Не сомневайся, помянем в лучшем виде», – сунув рубль в карман, он взялся за тележную ручку.

До назначенного времени оставалось полчаса. Маша шла вдоль ограды: цветочных бабок не было.

По широкой лестнице, ведущей к зданию крематория, поднимались люди, несли букеты, упакованные в прозрачный целлофан.

Спустившись к подножью, Маша оглянулась: на площадке, к которой вели ступени, высилось странное сооружение, похожее на обрубок широкой трубы. У жерла ее прикрыли желтыми металлическими листами. Видимо, имитируя языки пламени – Маша поняла.

Она смотрела на стены, облицованные гранитом. Небо,

нависшее над холмом, было серым – под цвет. У подножья лестницы гулял ветер. Клумбы, усаженные бархатцами, дрожали мелкой рябью. Снизу, где она стояла, открывался вид на ближние пустыри.

Закинув голову, Маша смотрела на желтое пламя. Ветер, летевший с холма, раздувал металлические складки. Звон, похожий на дребезжанье, долетал до холмов. В этом пламени, свернутом из листового железа, они уходили – сожженные души умерших. Жерлом, нацеленным в небо, открывалась их дорога. «Как в концлагере», – она подумала и пошла по ступеням, как будто провожая их в дорогу – в последний путь.

Торопливый стук каблучков донесся с лестницы, и, обернувшись, Маша увидела молодую женщину, бежавшую наверх. Ее голова была повязана темным газовым шарфом. Из-под него выбивалась желтоватая прядь. Вскинув запястье на бегу, женщина воскликнула: «Ужас!» – и кинулась к двери, у которой, собираясь отдельными группами, толпились люди. Она вглядывалась в лица, но отходила, не найдя своих. Букет белых гвоздик, который женщина несла с собою, был нарядным и свежим. Так никого и не обнаружив, женщина скрылась в дверях.

Оглядывая сквер, Маша гадала, как бы половчее подкрасться и нарвать этих чахлых бархатцев, все лучше, чем с пустыми руками. Она уже было решилась, когда за спиной застучали знакомые каблучки. Женщина шла обратно. Бе-

лые гвоздики, обернутые в целлофан, глядели в землю. Она дошла до лестницы и, заметив урну, пихнула в нее цветы – головками вниз. Прозрачный целлофан хрустнул. Женщина махнула рукой и пошла вниз.

Маша подкралась осторожно. Взявшись за хрусткое облачко, потянула на себя. Встряхнула, расправила обертку и пошла к дверям.

Гроб дожидался на возвышении. Вдоль стен, убранных металлическими венками, стояли скамейки. На них никто не сидел. Маша подошла и встала рядом с мамой. Крышку гроба успели поднять.

Фроськино лицо, открытое чужим глазам, выглядело птичьим. Смерть, выдвинувшая вперед подбородок, заострила черты. Нос, похожий на клюв, упирался в поджатые губы. Мама оглянулась и взяла цветы. Стараясь не хрустеть целлофаном, развернула и положила в ноги.

Строго одетая женщина подошла к отцу. Что-то спросив у него вполголоса, она подошла к гробу, и, сверившись с бумажкой, заговорила о том, что сегодня родные и близкие прощаются с человеком, прожившим долгую трудовую жизнь. Тягучие звуки поднимались откуда-то снизу, и, вглядываясь в черты, закосневшие в смерти, Маша не слушала слов.

«Теперь вы можете попрощаться», – строгая женщина отошла в сторону.

Панькина узкая спина загродила умершее лицо.

Маша содрогнулась.

Панька, до этих пор стоявшая смирно, билась лбом о гробовое ребро. В вое, рвущемся из горла, захлебывались слова. Она выла о том, что мать оставила ее одну-одинешеньку, горькой сиротой среди людей. Поминутно вскидывая голову, Панька шарила пальцами по костяному лицу своей матери и падала на гроб с деревянным стуком, от которого заходило сердце...

Женщина, одетая в строгий костюм, приблизилась к отцу. Подойдя сзади, отец с братом взяли Паньку за локти. Музыка, поднимавшаяся снизу, полилась широкой струей. Обмякнув в чужих руках, Панька затихла. Медленно, под визг осмелевших скрипок, Фроськин гроб уходил вниз. Железные листы, похожие на распластанное пламя, сомкнулись, и звуки замерли, захлебнувшись.

Чувствуя дрожащие колени, Маша вышла в коридор и сползла на скамью.

В автобусе она забилась на самое заднее сидение. В ушах стоял темный и страшный вой. «Горе», – она думала о том, что смерть – ужасное горе. Этим горем искупается Панькина злая никчемность.

Панька сидела с мамой, впереди. Мама обернулась и поманила: «Хорошие цветы». – «Хорошие, хорошие», – Панька кивала.

Пытаясь справиться со страхом, Маша приблизилась и за-

глянула в Панькины глаза: ей казалось, в них должно остаться страшное, вывшее в горле. То, что билось о деревянный край.

Поволока робости подергивала Панькины веки. Ее глаза были пусты.

Сидя за маминой спиной, Маша прислушивалась: мама с Панькой обсуждали кухонные дела: картошка начищена, осталось только поставить. Это надо сделать сразу. А потом заправить салаты и – все остальное.

Стол накрыли в родительской комнате. Отец откупоривал бутылки, мама с Панькой носили полные тарелки. Татка крутилась под ногами – помогать.

Подойдя к окну, Маша приподняла штору. Бумажка, забытая на подоконнике, хрустнула под рукой. Маминым *праздничным* почерком на ней были написаны закуска. «Праздник, конечно, праздник», – она усмехнулась и сунула в карман.

Во главе стола стояла пустая тарелка, а рядом – полная рюмка, накрытая куском хлеба. Мама объяснила: так надо. Это прибор для покойницы.

На место, занятое умершей Фроськой, Маша старалась не смотреть.

Отец поднялся и заговорил о земле, которая должна стать пухом. Мама сказала: «До дна, до дна». Панька выпила и отставила пустую рюмку.

Маше показалось: Панька ест с удовольствием. Во всяком

случае, пьет наравне с мужиками. Руки, скрюченные вечной стиркой, цепко держали рюмку. Поднося ко рту, Панька облизывала край. Темный румянец проступал сквозь морщины. Маша смотрела и отводила глаза.

Что-то новое пробивалось в Панькиных чертах, словно смерть, изменившая лицо покойной, коснулась и ее дочери. С каждой минутой Маша все больше убеждалась в том, что Панька молодеет на глазах. Материнская смерть разглаживала ее морщины, пьяным весельем наливала глаза. Прежде словно подернутые пеплом, они живо перебежали с одного с другого.

– Ничего, – отец налил по последней, – как-нибудь проживем.

Панька вспыхнула и закивала согласно.

За чаем Иосиф рассказывал институтскую историю, и пьяненькая Панька прислушивалась весело и внимательно, словно понимая.

– Кстати, – Иосиф обернулся к Маше, – красивые цветы. А я, дурак, вчера еще думал, а потом – забыл... – он покачал головой и посмотрел на Паньку сокрушенно.

– Да, правда, – мама вспомнила. – Где ты их взяла? Я смотрела, бабкок-то вроде не было...

Покосившись на пустую тарелку, за которой сидела мертвая Фроська, Маша поглядела в Панькины молодеющие глаза:

– Из урны. Одна женщина опоздала и оставила. Сунула в

урну. А я подобрала.

– Как-как? – отец замер.

Панька хлопала пьяненькими глазами.

– А что? Разве вы, баба Паня, никогда не подбирали чужого?

– Машенька, как же ты?.. О, господи... – мама поднесла пальцы к губам.

– Мария, неужели... – отец замолчал, не договорив.

Родители обращались к ней как к маленькой. Снова взялись воспитывать.

– Ага, – Маша кивнула. – Вы еще вспомните про десять заповедей. Как там?.. Не произноси ложного свидетельства. Да, вот еще: не укради. Звучит заманчиво. Только, если я, конечно, не путаю, Моисей получил их *после* египетского плена. А не в процессе, – она посмотрела на Иосифа.

Брат сидел, опустив голову. Короткая виноватая улыбка скользнула по его губам.

– И правильно, и правильно, – Панькины губы шевельнулись, защищая. – Моисей-то, конечно... И правильно. Чай, небось, не украла. Сами, сами оставили, чего ж добру пропадать. Ничего, – она махнула рукой, – бабушка Фрося не обиделась. Ну и что – из урны! Главное, красивые!

Пряча глаза, родители вставали из-за стола.

За дверью звякала посуда. Маша сидела на подоконнике, обхватив руками колени. Татка пробралась на цыпочках

и улеглась. Маша вспомнила взгляд брата: его виноватую улыбку. Темный стыд поднимался к щекам, бередил паучий укус. Она думала о том, что совершила подлость. Проклятый укус наливался жаром, чесался и ныл.

Ступая на цыпочках, Маша прошла сквозь родительскую комнату и подкралась к соседской двери. Дверь была приоткрыта. Не решаясь постучаться, она приоткрыла щель.

Полумрак озарялся светом. В углу, под темными иконами, Панька стояла на коленях, бормотала, шевеля губами. Панькин голос был прерывистым и неверным. Водка, бродящая в крови, мешала выговаривать слова.

Маша стояла, прислушиваясь. Вид согбенной старухи будил непонятную робость, которую она не могла побороть. Маша хотела отступить, но Панька вдруг выпрямила спину и, опершись о пол костяшками пальцев, заговорила увереннее и громче.

Призывая Бога, она жаловалась на свое новое одиночество, которое придется доживать среди чужих. Дождавшись ночи, повторяла все то, о чем выла над материнским гробом, но теперь тихо, едва слышно – смиренно. Обращаясь то к Богу, то к матери – словно мать, встав из-за праздничного стола, уже добралась до неба, – называла себя горькой сиротинушкой, оставленной *доживать*. Слова, сказанные смиренно, наливались безысходностью. Машино сердце страдало и ежилось. Старуха заворочалась и уперлась ладонями в пол. Стоя на четвереньках, Панька заговорила громким ше-

потом. Каждое слово, посланное в небо, долетало до Машиных ушей.

Она шептала о том, что осталась с жидами: только и ждут ее смерти, зарятся на третью комнату. О стиранных простынях, которые они украли, о том, что с ними не сладишь, потому что они всегда хитрее, придется хитрить и подлаживаться, уж она-то знает их жидовскую доброту...

Оплывающая свеча, криво прилепленная к блюду, освещала Панькин угол. Над комодом, перед которым ползала Панька, висели маленькие иконы. Жалкий свечной язычок тянулся к ним снизу, но Маша смогла разглядеть: Панькины иконы были бумажными. Не иконы – цветные картинки, репродукции, пришпиленные к стене канцелярскими кнопками. Там, где кнопки упали, бумага завилась с уголков.

«Рисованный, – Маша думала, – такой же бумажный и грубый, если он соглашается слушать *такие* слова... Отец говорил: для них Сталин – бог. Великий и бессмертный. Сказал: сначала – немцев, потом – евреев... Не успел – сдох. Все умирали, миллионами, а они стояли и слушали: давление, сахар, моча... Панькин бог – такой же. Пусть они *все* сдохнут. А я – как папа. Буду танцевать...»

Комод, занимавший глубокий простенок, давил неподъемной тяжестью. Ножки, отлитые в форме львиных лап, темнели на зашарканном полу. Почти не таясь, Маша осматривала комнату. Взгляд скользнул под диван. Диван покоился на таких же львиных лапах.

Старуха, стоявшая в углу на коленях, заворочалась, пытаясь подняться.

«Сволочи! Всё у них – немецкое», – Маша отступила и закрыла дверь.

Глава 4

1

Два месяца, прошедшие с Фроськиных похорон,местили множество дел. Сперва – курсовик по «Технологии отраслей». Вооружившись счетной машинкой, Маша сидела вечерами, заполняя бессмысленные графы. Справившись с собственным, она взялась за чужие: девочки из группы попросили помочь. Столбики цифр, не имевшие в ее глазах ни цели, ни смысла, заглушали подспудный ужас: с каждым днем приближалась зачетная неделя, за которой маячила сессия. Мысль о предстоящих экзаменах ложилась тенью на близкие новогодние праздники. Резоны не помогали: холодный ужас подступал к сердцу, стоило подумать о том, что снова ей придется войти в аудиторию и вытянуть билет.

Во сне являлся какой-то будущий экзамен, который они сдавали вместе с Валею. Сидя за партой, Маша пыталась вспомнить ответ на второй вопрос. Попытки заканчивались провалом. Самое страшное заключалось в том, что вопроса вовсе и не было, по крайней мере, он не был написан: на билете, который Маша вытянула, значился пробел.

Просыпаясь среди ночи, Маша испытывала смешанное чувство тоски и облегчения: экзамен оставался по ту сторо-

ну яви. Лежа во тьме с открытыми глазами, она вспоминала свою *конспиративную* историю, и сонный ужас сменялся страхом неминуемого разоблачения. Кто-то – его лица она не видела – входил в лекционную аудиторию, чтобы раскрыть перед всеми ее лживое *личное дело*.

Наяву на совести лежала гадкая Валина история. Маша помнила о своем обещании и твердо хотела помочь. Валя не заговаривала, глядела в сторону. В том, что ее страдания длятся, сомнений не было – Валя чернела на глазах. Прикидывая и так, и эдак, Маша гадала, с какой стороны подступиться. Совет отца – обратиться к администрации – она отменяла сразу: не хватало вмешивать *их*.

Решение пришло неожиданно. Не посвящая Валю в подробности, Маша предложила встретиться на «Чернышевской», у эскалатора, внизу.

Поздний час она выбрала намеренно. Зажимая под мышкой папку с готовыми расчетами, Маша поднялась по широкой лестнице и постучалась в дверь.

Девочки собирались к ужину. Посреди стола, на выщербленной деревянной дощечке, лежал пирог с повидлом из кулинарии. Девчонки загомонили, и, сбросив плащ, подхваченный кем-то из хозяек, Маша под села к столу.

Дверь, скрипнувшая за спиной, прервала веселую беседу. Глаза гостеприимных хозяек подернулись холодом. Опустив голову, Валя пробиралась к себе в угол.

– Ой, Валечка! – Маша окликнула. – Ты – здесь, в этой

комнате? А я и не знала. Надо же, как бывает, – она пела, не останавливаясь, выпевала дурацкие лживые слова. – Вроде идешь по делу, а встречаешь лучшую подругу, оказывается, она здесь и живет...

– Машенька, чайку! – Наташка взялась за ручку чайника.

– С удовольствием! – Маша уселась поудобнее. Прихлебывая из чашки, она думала о том, что на их месте сообразила бы быстрее.

Чаепитие подходило к концу. На выщербленной доске оставался последний кусок.

– Валечка, ну что ты там? Давай скорее, пирога не достанется, – Маша произнесла внятно и громко. Приглашения никто не поддержал.

Маша прислушалась: там, за загородкой, Валя плакала, зажимая рот. Оглядев сидящих за столом, Маша отставила недопитую чашку и поднялась с места. Прижав к груди папку с готовыми курсовиками, она шла к двери.

– А как же?.. – В папке, среди готовых, лежал и Наташкин курсовик.

– Ты что-то хотела? – Маша обернулась.

Похоже, Наташка оказалась самой умной. В ее глазах мелькнула злоба, но, обуздав себя, она улыбнулась и позвала:

– Валю€шка, – она звала елейным голосом, – иди к нам. Чего это ты там – одна?..

Глаза, смотревшие на Машу, проверяли: такова ли цена? Девочки глядели недоуменно: разговора, в котором ни од-

на из сторон не произнесла ни слова, не расслышал никто.

– Да, – Маша кивнула одной Наташке. – Надо же, чуть не забыла, зачем пришла.

Взвесив папку в руке, Наташка развязала тесемки.

В понедельник сияющая Валя догнала Машу в коридоре и жарким шепотом рассказала: все страшное кончилось, вчера ее позвали к чаю, и парни больше не ходят, девчонки исчезают сами – до утра. «Ты просто волшебница!» – подруга повторяла восхищенно.

В середине декабря к Маше подошла Галя Хвостенко, староста группы, и передала приглашение: декан, на их потоке читающий «Введение в специальность», просил зайти. Галя глянула с любопытством, дожидаясь объяснений. Маша поблагодарила и отвернулась.

Она понимала ясно – *дознались*. Первой вспыхнула трусливая мысль – бежать, но, обдумав, Маша рассудила: надо идти. Сами *они* никогда не отвяжутся, втянут отца и мать. Вторая – позвонить брату – погасла мгновенно. Иосиф предупреждал: для *приватных* бесед телефоны физического института нельзя использовать.

Маша не помнила, как досидела до конца пары. Последний звонок зудел в ушах противным дребезжанием, когда, поправляя платок, норовивший вывернуться на спину, Маша подходила к дверям деканата. Похоже, секретарша была предупреждена. Не дожидаясь объяснений, она кивнула на

распахнутую дверь:

– Заходи. Нурбек Хайсерович свободен.

Декан разговаривал по телефону. Стараясь вникнуть в смысл, Маша ловила обрывки, которые, в силу сложившихся обстоятельств, могли определить ее судьбу. «Да, да, именно, как раз пришла, сейчас решим, я согласен с вами, добро».

Положив трубку, декан пригласил садиться. Маша села и сложила руки. Последние сомнения исчезли: сейчас должно последовать то, от чего нет спасения.

– Такое дело, – опустил глаза, Нурбек Хайсерович перебирал бумаги, – через неделю институтский праздник, пятикурсники уходят на диплом, что-то вроде последнего звонка, предварительного... На таких мероприятиях кто-то из первокурсников произносит речь, ну, как бы сказать, напутственную. Принимает эстафету... от них – к вам. Дело почетное и ответственное, доверяется лучшим студентам, кстати, о ваших подвигах с курсовиками я наслышан. Разведка донесла, вы перевыполнили план, – декан улыбнулся тонко и доброжелательно, – да и в отделе кадров там тоже сочли, что вы во всех отношениях достойны... Конечно, – декан усмехнулся, – *это* не главное, дело решает успеваемость. Короче говоря, именно вам, Мария, доверено от лица первокурсников поприветствовать наших будущих выпускников.

Паучий укус молчал. Жаркая слабость разливалась по Машиным рукам, теребившим платок.

– поприветствовать... Конечно, – она произнесла едва

слышно.

– Вот и ладно, вот и договорились. Кстати, при ваших несомненных способностях, я уверен – вы пойдете далеко. Но начинать, – Нурбек Хайсерович поднял палец, – надо уже сейчас, прямо с первого курса. Наука – дело степенное, с кондачка здесь ничего не выходит. Как вы относитесь к общественной работе? Это во всех отношениях хороший трамплин.

Выйдя из деканата, Маша пошла по коридору. «Праздник пятикурсников, от лица всех поступивших перенять эстафету... хороший трамплин, научные перспективы», – голос, звучавший в ушах, крутился как магнитофонная пленка. Каблук, стукнувший обо что-то стеклянное, вырубил звук.

Замерев над пропастью, забранной мутными клетками, она поймала суть: достойной ее сочли именно в отделе кадров. Успеваемость ни при чем. Для *них* этого мало. Ее выбрали потому, что им подошло ее *личное дело*. Брат был прав – никогда *они* не станут проверять написанное, потому что раз и навсегда уверились: никто не посмеет вступить с ними в такую опасную игру.

Топнув каблукочком по стеклянной клетке, Маша сделала следующий шаг: радость разлилась по всему телу. Она шла и чувствовала: это не она, ноги. Сами собой пускаются в пляс. Спасение – настоящее чудо. Потому что случилось на самом краю гибели.

Задача, поставленная деканом, оказалось сложнее, чем показалось на первый взгляд. Бумажка за бумажкой летели в мусорную корзину. Исчерпав стандартные обороты, Маша отправилась звонить брату, который отнесся к ее рассказу с величайшим вниманием: «Так и сказал – трамплин? Для научной и общественной работы?.. Ладно, – брат помедлил, – не телефонный разговор. – И обещал навестить завтра. – Заодно и с исторической речью помогу».

Маша рассказывала подробно, стараясь не упустить ни единой детали.

– Что-то тут не стыкуется, – брат выслушал и потребовал повторить. Маша начала заново. Он остановил тогда, когда она добралась до улыбки декана, оценившего ее подвиги с курсовиками.

– Нет, не могу понять, – Иосиф заходил по комнате. – Как ни раскинь, дело обыкновенное. Я и сам, бывало, грешил: просят помочь – помогал. В каждой группе таких помощников находится парочка, но откуда такая осведомленность? Те, кому помогают, обыкновенно молчат как рыбы. Ладно: кто, кроме клиентов, мог об этом знать?

Маша растерялась. *Это* ей вообще не приходило в голову.

– Хорошо, поставим вопрос иначе: кто присутствовал в момент передачи готовых курсовиков?

– Все, – неохотно, опуская *стыдные* подробности, Маша рассказала Валину историю. Иосиф слушал. Улыбка жало-

сти трогала его губы, но Маша, стремившая свой рассказ к победной развязке – молчаливому договору с Наташкой, – не обращала на это внимание.

– Ну, вот, теперь, похоже, кое-что и проясняется, – пережив счастливое окончание Валиной истории, Иосиф возвращался к тому, что счел нестыковкой. Размышляя вслух, он откинулся на спинку дивана.

– Наташка?! – Маша вспомнила взгляд, полный злобы. – Но зачем? Она-то в первую очередь нуждается в моей помощи... И вообще, – она сказала, как привыкла в школе, – за-предельная дура...

Обычно, когда Маша в разговоре с ним переходила на *школьную* лексику, Иосиф морщился, но тут даже не заметил.

– Вот-вот... Так-то вроде бы незачем, но лед больно тонкий. Сколько раз, говоришь, поступала?

Наташкину историю с профессором Винником, которую Маша передала с Валиных слов, брат выслушал настороженно:

– Что бы там ни было, но *с этой девушкой* я советую быть поосторожней, не пускаться в ваши девческие кренделя. Видишь ли, в договорные отношения она могла вступить не только с тобой... А с отделом кадров – смешно. Похоже, тут мы с тобой перестарались. Если судить по анкете, ты у нас оказываешься святее Папы Римского. Как говорится, монолит без изъянов. Экземпляр, которого в природе не суще-

ствует... А впрочем, черт с ними! У них это вообще в моде: мертвецы, которые живее всех живых. Выпотрошат и любят...

– На кого? – Маша вскочила с места. – На меня?!

– Ну, тебя пока что еще не выпотрошили, – Иосиф улыбнулся примирительно. – Слава богу, пока еще нет. Но вообще-то... Как говорится, минуй нас пуще всех печалей. Опыт, отец исторической истины, свидетельствует: как правило, *они* предпочитают щербатых. С монолитами вроде тебя работать сложнее.

Этого Маша не поняла, но не стала переспрашивать. Куда больше ее беспокоила ненаписанная речь.

С приветственной речью решилось быстро. Пробежав глазами по книжным полкам, брат вынул томик Пастернака и, полистав, предложил четверостишие:

Все время схватывая нить
судеб, событий,
жить, думать, чувствовать, любить,
свершать открытья.

Отталкиваясь от этой мысли, брат исписал целую страничку, в которой содержались наилучшие пожелания уходящим.

– Ни дать ни взять, надгробное слово, – Иосиф пошутил грустно и рассказал о том, что на днях встречался со своим

институтским другом. И поступали, и учились вместе. Марик успевал слабовато, распределили в школу – учителем физики. Когда-то Эмдин ему завидовал: Институт Иоффе – не фунт изюму.

– Человек предполагает, бог располагает, – брат покрутил головой. – В нашей стране поди угадай, где найдешь, где потеряешь... Теперь мечтает об отъезде, учит язык.

– А ты? Тоже мечтаешь? – Маша спросила тревожно, хотя давно знала ответ.

– Что мне мечтать впустую? С допуском я – их раб. Да нет, – Иосиф махнул рукой, – грех жаловаться. Работой я доволен. Ясные научные перспективы...

«Жить, думать, чувствовать, любить...» Речь, написанную братом, Маша вызубрила наизусть. Посадив Татку напротив, произносила с выражением. Сестренка радостно подпрыгивала, предсказывая ошеломительный успех.

День, назначенный деканатом, приблизился стремительно. С самого утра не находя себе места, Маша вышла пораньше. В институт она явилась минут за сорок до начала.

Длинный коридор был пуст. Маша спешила, не глядя под ноги. Губы бормотали заученные слова. Снова и снова она повторяла их, радуясь, словно от этого – от сегодняшнего выступления – зависела вся дальнейшая жизнь. Она шла, не помня о золотых слитках, которые хранились в этих стенах. О люках, забранных стеклянными клетками. В ногах пело

веселье: не кто-нибудь, а она сама – своими способностями и хорошей учебой – нашла спасение от железного паука...

Каблук поехал сам собой. Маша взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие. Под щекой, занывшей от боли, лежали пыльные стекляшки. Она попыталась подняться, но, застонав, схватилась за лодыжку. Чертыхаясь от обиды, подтягивалась на руках. Не то солдат с перебитыми ногами, не то морской котик, выброшенный приливом на берег, – Маша подползла к стенке и, радуясь, что никто не видит ее позора, закрыла глаза.

Ступня болела невыносимо. Маша кусала губы, чувствуя, как боль, поднимаясь вверх, отдается в левой лопатке, прижатой к стене. Она повела плечом. Лопаточная кость выступила как горбик. Ноющий горбик зашевелился, как будто чесался о стену. Лодыжка понемногу успокаивалась. Кто-то шел по коридору, говорил громко и весело. Помогая себе руками, Маша поднялась и пошла вперед, неловко прихрамывая.

Декан лично руководил расстановкой стульев: на сцене сооружали президиум для почетных гостей. Кивнув Маше по-дружески, он велел ей скрыться за кулисами, чтобы оттуда выйти на сцену.

Маша прислушивалась к гулу, заполнявшему актовый зал.

Спотыкаясь о ступеньки маленькой лестницы, почетные

гости выходили на сцену и садились в президиум. Шум стихал.

Последние волны улеглись, когда на подмостки выступил высокий седовласый человек. Обведя глазами зрительный зал, ректор занял почетное место. Его появление послужило сигналом. Декан, сидевший по правую руку, поднялся и, поднеся ко рту микрофон, заговорил хрипловатым, слегка искаженным голосом. С трудом разбирая слова, глухнущие в складках занавеса, Маша понимала: речь идет о радости и грусти, с которыми прославленный вуз провожает своих выпускников.

«Вы, уходящие от нас, менее чем через год вступите во взрослую жизнь, в которой вам придется ежедневно доказывать свои знания, полученные в стенах родного института. Вы станете нашими эмиссарами на предприятиях и в учреждениях, где ваши знания обязательно будут востребованы».

Под шелканье микрофона декан говорил о социалистической экономике, с нетерпением ожидающей специалистов, получивших современное образование, и в продолжение его недолгой речи зал наполнялся веселым гулом.

Ректор, сказавший несколько слов вслед за деканом, пожелал выпускникам профессионального и личного счастья.

Один за другим выходили ораторы и вставали за невысокую кафедру. Их речи уходили в глубину зала, выше студенческих голов. Выступавших было много. Маша давно сбилась со счета, когда сквозь микрофонные помехи слышала

свою фамилию и поняла: сейчас. Шум был ровным и глуховатым. Приглушенные голоса подбивали дощатое возвышение. Отведя складку занавеса, Маша вышла на сцену и, обойдя высокую кафедру, встала на самом краю.

Кто-то, сидевший в президиуме, напомнил о микрофоне, но она покачала головой. Невнятные голоса мало-помалу смолкли, и в наступившей тишине Маша заговорила высоким, напряженным голосом, начала свою затверженную речь, построенную на четверостишье, но, дойдя до конца, заговорила дальше.

Их, уходящих из студенческой жизни, она называла счастливыми людьми, чья давняя мечта теперь наконец исполнилась. Но в то же самое время – и несчастными, потому что кончалось их право на учебу:

«Все, чему вы научитесь с этих пор, станет вашей личной заботой, до которой никому, кроме вас самих, не будет никакого дела. Там, на производстве, вы обретете уважение и самостоятельность. Мы, остающиеся здесь, еще долго будем студентами, но иногда, уважаемые и самостоятельные, вы будете завидовать нам, потому что учеба – это счастье и радость, выпадающие не каждому».

Неловко махнув рукой, Маша обернулась к президиуму: лица людей, сидевших на сцене, дрогнули и расплылись. Глаза защипало, и, боясь расплакаться, она отступила от края и пошла назад, за складки занавеса, не слыша, как за ее спиной несчастные, навеки отлученные от учебы, аплодировали

ее словам искренне и горячо.

2

К вечеру нога все-таки разболелась. Сидя в кресле, Маша видела: лодыжка распухает на глазах.

– Ой, смотри, ножка-то как распухла! – Татка вертелась по комнате, делала балетные пируэты.

Мама принесла таз с теплой водой.

В постель ее все-таки загнали. Лежа на высоких подушках, Маша прислушивалась к пульсирующей боли.

– Маш, а Маш, тебе очень больно? – Татка устроилась в ногах. – Можешь поговорить со мной *секретно*?

– Давай, – Маша кивнула, предвкушая рассказ о малышových глупостях. – Влюбилась, что ли?

– Ой, нет! Вообще-то немножко, но это – потом. Я про другое...

Маша любила их секретную болтовню. Обычно дело касалось школьных историй, и, погружаясь в любовные перипетии Таткиных сверстников, Маша вспоминала собственные годы, полные детских переживаний. На этот раз Татка предприняла особенные предосторожности. Подбежав к родительской двери, прикрыла плотно и придвинулась поближе к сестре.

– В четверг назначили дополнительную репетицию, заранее, я забыла, забыла предупредить. А потом было поздно,

потому что кончился перерыв и все уже встали, и тут вошел Виталий и сказал Нине Алексеевне: там спрашивают Таню, какой-то мужчина, наверное, отец... Ты помнишь Виталия? – Татка смотрела доверчиво. Маша кивнула.

Аккомпаниатора Таткиной балетной группы она запомнила еще с прошлого года, когда учительница устроила открытый урок. Маша сидела недалеко от рояля, за которым безумствовал этот самый Виталий, вдохновенно бросая руки на клавиши, словно играл какой-то сольный концерт. Рояль отзывался утробными звуками.

– И что? Что этот ваш Виталий?

Татка елозила смущенно.

– Когда он вошел, я стояла рядом, но он меня не заметил. А Нина Алексеевна спросила: какую Таню, Агарышеву? Помнишь, такая маленькая с двумя хвостиками? А Виталий сказал, нет, не Агарышеву, другую, *не нашу*... А Нина Алексеевна сразу поняла и громко сказала: Таня Арго, тебя спрашивает папа, выйди на минутку и возвращайся – начинаем с польского, – Татка вздохнула, – ну вот, я вышла. А почему он *так* сказал?

– Может быть, – Маша дернула ноющей лопаткой и отвела глаза, – может, ты плохо расслышала?

– Нет, – Татка возразила грустно. – Я расслышала хорошо. А если... – она оглянулась на дверь, – только ты не сердись. Может быть, потому, что я – еврейка?

Жаркая волна облила спину до поясницы. Маша ответила

ясно и твердо:

– Не болтай глупостей! Чтобы я больше никогда...

– Нет, – торопливо и испуганно сестренка шла на попятный. – Я и сама знаю, так не бывает, не может быть. Везде, и в школе... Но знаешь, – она опустила голову, – мне кажется, *иногда так бывает*...

Татка втянула голову в плечи и затихла.

Справившись с горячей болью, Маша поджала под себя здоровую ногу. Когда она была маленькой, никто – ни родители, ни брат – не говорил с ней об этом.

– Вот что, – она склонилась к уху сестры. – Ты уже большая. Я скажу тебе правду, но ты должна поклясться...

– Ой, конечно, чем хочешь, могу... – Татка завертела головой в поисках достойного предмета, – ну хочешь – папиным здоровьем, нет, а вдруг разболтаю? Давай лучше я своим...

– Клянись моим, – Маша предложила решительно. – То, о чем ты говоришь, *иногда* бывает. Но я знаю верный способ. Ты не должна бояться, потому что, если *это* начнется, я знаю, как спастись.

Татка смотрела доверчиво и восхищенно:

– А этот способ, он очень... честный?

– Очень, – Маша подтвердила мрачно.

– А папа его знает? – Татка улыбнулась виновато, как будто, упомянув отца, подвергала сомнению слова сестры.

– Нет, папа не знает, никто не знает. Только я. Ты тоже

узнаешь, когда придет время.

– А ты откуда узнала? – Татка прошептала чуть слышно, но, не дождавшись ответа, не решилась переспросить.

И все-таки Машина уверенность подействовала. Сбегав за кипятком, потому что чай успел остыть, Татка принялась болтать о классных делах, но Маша слушала невнимательно. Усталость долгого дня наваливалась тяжким бессилием, и, не дослушав, она сказала:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.